

“ЛУЧШАЯ КНИГА, КОТОРУЮ Я ЧИТАЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ”. **Б.АКУНИН**

Олег
Радзинь —
случайные **СКИИ**
ЖИЗНИ

CoRpus

18+

Олег Радзинский
Случайные жизни

«Corpus (АСТ)»

2018

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Радзинский О. Э.

Случайные жизни / О. Э. Радзинский — «Corpus (АСТ)», 2018

ISBN 978-5-17-110353-8

Каждый человек живет свою жизнь. Некоторым, впрочем, выпадает прожить несколько жизней – как автору книги Олегу Радзинскому. Советское привилегированное детство в писательской семье со знаменитой фамилией и антисоветская мятежная юность, тюрьма и ссылка, лесоповал в Сибири и путешествия по южноамериканским джунглям, работа учителя в московской школе и карьера банкира на Уолл-стрит в Нью-Йорке – такого хватило бы на многих людей. Олег Радзинский прожил эти жизни один, и теперь читатели могут прожить их вместе с ним.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-110353-8

© Радзинский О. Э., 2018
© Corpus (АСТ), 2018

Содержание

Жизнь первая	6
Детство реписа	6
Бабушка Лия и мандарины	10
Жизнь не удалась	13
Конфликт города и деревни	14
Жизнь вторая	19
Невероятная легкость бытия	19
Советские мажоры	21
Конец невероятной легкости бытия	23
Жизнь третья	26
Диссидентство как самоутверждение	26
Мы наш, мы новый мир построим	29
Пацифист Радзинский	32
Дед-кадет	40
Подследственный Радзинский	42
Жизнь диссидента, рассказанная им самим	45
Любовь нечаянно нагрянет...	49
Но от осени не спрятаться, не скрыться...	52
Жизнь четвертая	54
Все ночи, полные огня...	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Олег Радзинский

Случайные жизни

© О. Радзинский, 2018

© Philippe Grollier/Temps Machine, фотография автора на обложке

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Издательство CORPUS ®

* * *

Маме и двум папам

*“Но кажется, что это лишь игра
С той стороны зеркального стекла...”*

Борис Гребенщиков

Жизнь первая Советский репис 1958–1973

Детство реписа

Все советские дети были счастливы одинаково. Каждый несоветский ребенок был несчастлив по-своему.

Советское детство – безоблачное и беззаботное – парило над школами и пионерлагерями, детскими садами и московскими дворами, придавленными зимой снегом и шумящими пыльной листвой тихим задумчивым городским летом, когда дворы пустели – дети уезжали в пионерлагеря и по сельским родственникам. Москву заносило тополиным пухом, словно продолжал идти снег, но снег тот был мягкий и пушистый. И как тополиный пух, наше детство было мягким и пушистым; оно обволакивало, убаюкивало и обещало, что такой же будет и юность.

Несоветские дети жили много хуже: они не могли учиться в школах, потому что за образование нужно было платить. Они не могли болеть и подолгу оставаться дома, чихая, кашляя и отпаиваясь горячим молоком с медом, потому что за лечение нужно было платить. Их несоветские родители были безработными или батраками на плантациях сытых противных буржуинов, которых у нас давно прогнал Мальчиш-Кибальчиш. Да и сами дети должны были разносить буржуинам газеты, мыть буржуинские машины или работать на буржуинских заводах. Советские же дети учились и играли, выполняя тем самым свой советский детский долг.

Кроме безмятежности, в советском детстве всегда оставалось место подвигу: тот же Мальчиш-Кибальчиш, Тимур и его команда, Павлик Морозов и его тезка Павел Корчагин звали, манили, трубили в горны и обещали нечто большее, чем игра во дворах и манная каша в детских садах. Они обещали причастность к чему-то несравнимо грандиознее, чем ты сам, обещали возможность возвеличивающей тебя жертвы и увековечивания твоей памяти в гранитном монументе, к которому придут пионеры и положат цветы, а затем застынут в пионерском салюте, вскинув детские руки к отглаженным и ладно сидящим пилоткам с красной звездочкой. Подвиг, как советское знамя, реял над нашим детством. Но даже подвигу не удавалось испортить его безмятежность и связанное с ней ощущение безопасности: подвиг подвигом, а сейчас кино и мороженое.

Дети, как любили напоминать наши учителя и воспитатели, были единственным привилегированным классом в СССР. Оттого и советское детство было таким счастливым.

Мое детство оказалось привилегированным вдвойне: я рос не простым советским ребенком. Я рос реписом.

“Репис” – на жаргоне сотрудников Литературного фонда СССР, Литфонда, – означало “ребенок писателя”. Жены писателей назывались столь же малопонятно, но более неблагозвучно – “жёпис”. Жёписы были наши мамы. Если, конечно, они сами не были писательницами.

Интересно, что для мужей писательниц не существовало похожего термина, например, “мупис”. Мужья оставались без названия – неопределенное семейное приложение к жрицам словесности – и в качестве таковых, как и писательские жены, могли пользоваться всеми благами, дарованными советской властью творческой интеллигенции. Которая, кстати, и была настоящим привилегированным классом в СССР.

Советская власть, как никакая другая, ценила творческую интеллигенцию. Эту традицию советская власть переняла у власти царской, которая также ценила искусство, и русские цари лично занимались судьбами писателей, приближая их ко двору либо ссылая в разные отда-

ленные места империи. Творческой интеллигенции выпала задача создать симулякр советской жизни в словах, картинах, скульптуре, музыке и кино. Ей поручили рассказать стране, как трудно та жила раньше, как – под мудрым руководством партии – преодолела эти невзгоды, пройдя через пламенные горнила революции и разных войн, и как хорошо, идя от свершений к свершениям, страна живет сейчас, а главное, каким замечательным станет ее будущее. За это творческой интеллигенции предоставлялись разные блага: квартиры с дополнительной площадью, ведь творцам нужно место, чтобы творить; путевки в дома творчества и прочие привилегии. Между властью и творческой интеллигенцией существовал социальный контракт: мы дадим вам дополнительные блага и даже позволим определенные творческие вольности, а вы оставайтесь лояльны. Или по крайней мере нейтральны. Этот контракт действовал до конца советской жизни и умер, став ненужным. Как стала ненужной и сама творческая интеллигенция.

Нынешней российской власти не нужна идеологическая обслуга, поскольку у нее нет идеологии. Она никого не боится и не собирается ни перед кем отчитываться. Ее социальный контракт не с интеллигенцией, а с олигархами: оставайтесь лояльны или нейтральны, и вам позволят вести вашу олигархическую жизнь. Или не позволят.

При советской власти писатели жили особенно хорошо. У писателей были своя поликлиника, где они могли всласть лечиться, чтобы сохранить столь ценимую советской властью творческую активность, свои детские сады и пионерлагеря, в которых возрастали реписы, свои дома творчества и дома отдыха, где писатели творили, а устав – отдыхали.

Поликлиника Литфонда на метро “Аэропорт” была самым посещаемым писателями местом: там можно было получить оплачиваемый бюллетень. Этот бюллетень относился в Литфонд, где околелитературные дамы – многие из них жёписы – выписывали квиток на оплату, и писатели отправлялись в кассу, чтобы получить заслуженные недугом рубли. Получив, литераторы шли в свой Центральный Дом на улице Воровского, где когда-то заседали московские масоны, а теперь находился известный всей творческой Москве ресторан ЦДЛ, и просаживали там заработанные болезнью деньги. Оттого, думаю, бюллетени и оплачивались щедро, что знала власть: принесут рублики обратно и потратят на водку и жюльены.

В детстве я не видел вокруг никого, кроме писателей, их жёписов и реписов. Иногда в мое детство забредали театральные режиссеры (мой отец был драматург, а мама – актриса), но они оставались гостями в нашей тщательно отгороженной от действительности жизни, и жизнь эта тянулась параллельно настоящей жизни страны, не пытаясь с нею смешаться, а подменяя ее другой – придуманной, написанной, книжной. Наша жизнь была полна литературных аллюзий, метафор и образов, и оттого другая, *настоящая* жизнь казалась много скучнее, бледнее, беднее. Настоящая жизнь была интересна лишь как отголосок жизни книжной, как слабое отражение мира, описанного литературой. В жизни моей семьи Тургенев продолжал жить в русской деревне, и деревня та все еще стояла у тихих речек с навсегда поселившимися в ней Хорями и Калинычами, с усадьбами, где бесконечно тянулись детство, отрочество и юность Николиньки Иртеньева и где в прудах росли кувшинки, а не квакали лягушки. Единственные лягушки, допущенные в нашу жизнь, были заколдованные царевны. И вся жизнь казалась оттого заколдованной, вечной, застывшей в ожидании новых литературных героев. Этими литературными героями должны были стать мы сами. Нас ждали постаменты.

Детство мое – а за ним и вся жизнь – могло пройти совершенно по-другому.

Мне исполнилось четыре года, когда, устав от моих бесконечных бронхитов, родители решили, что пора перестать укутывать меня шарфами и мучать банками, а нужно докопаться до причины моего кашля, и докопались: я оказался астматиком. После разных обследований и осмотров врачи посоветовали увезти меня из Москвы: ребенку необходим морской климат, сообщили они родителям. Их рекомендация носила чисто теоретический характер, поскольку кто же поедет из Москвы в морской климат? Да и куда?

Куда, однако, нашлось: аул Головинка под Сочи, в устье реки Шахе, впадающей в Черное море на окраине поселка. Меня привезли туда ранним июнем, мама сняла две комнаты у черкесской семьи и оставила меня с бабушкой Лией. В августе бабушку Лию сменили приехавшие в отпуск родители, а в сентябре им на смену приехала другая бабушка – Соня.

Так – с несущими вахту родственниками – я прожил в Головинке до школы, проводя там восемь – десять месяцев в году и уезжая в Москву на Новый год и в июне, чтобы отправиться с родным писательским детским садом в летний лагерь в Малеевке, где пятилетние дети обсуждали, какими тиражами печатаются их родители. “Чтобы не отставал от жизни, – говорила мама. – А то совсем одичал”. Папа звал меня “кавказский пленник”.

Я и вправду одичал в Головинке. До позднего октября я бегал босиком с черкесскими детьми, собаками и козами. Мы купались в море, прыгая с волнореза и презрительно посматривая на бледных туристов-дикарей, задорого покупающих полуспелую алычу у местных женщин в черных платках, бродивших с ведрами вдоль рассыпанных по пляжу приезжих тел.

Все приезжие назывались “курортники”. Курортников можно было распознать по отсутствию загара и наличию полотенца. Никто из уважающих себя местных не пользовался полотенцами. Мы располагались или на крупной, нагретой кавказским солнцем гальке, или на волнорезе и оттуда наблюдали курортную жизнь, купаясь до посинения и обсыхая на теплом морском ветру. Из жизни отдыхающих – это было мое черкесское детство. К семи годам, когда я распрощался с Головинкой и окончательно вернулся в Москву – школа! – я сносно говорил на адыгейском, мог прыгать в море ласточкой и хорошо сидел на лошади, хотя в ночное – на ночной выпас лошадей – бабушки меня не отпускали.

С лошадьми получилось не сразу. Мы поселились у тети Фатимы и дяди Джантемира, у которых было шесть дочерей, но не было сыновей. Вернее, был один, но умер в младенчестве, и жизнь их проходила в окружении черноглазых красавиц и ожидании их замужеств и уходов в семьи мужей. Я же, блондин с льняными волосами и голубыми глазами, что по причине редкости нравилось местному населению, был мальчик, и тетя Фатима и дядя Джантемир хлопотали, пытаясь впихнуть в меня побольше жирной баранины и козьего молока.

Я был мужчина. А мужчина должен сидеть на лошади. Понимая это, дядя Джантемир где-то через неделю после начала нашей северокавказской жизни вывел из сарая свою кобылу Зарку, позвал меня и, легко подкинув, посадил на нее верхом.

До этого я видел лошадей только в книжках. Вообще все, что я видел до этого, я видел в книжках. Или мне об этом читали. Зарка была смиренная старая кобыла и спокойно стояла подо мной, но я был страшно напуган: сверху казалось, что я сижу очень высоко над землей и неминуемо упаду.

Дядя Джантемир сунул мне в руки уздечку и похлопал по спине.

– Абрек, – приободрил он меня (я не знал, что такое “абрек”, и думал, что он так произносит мое имя Олег), – хочешь прокатиться?

Я не хотел. Я хотел вниз, на землю, и убежать в сад, где сидела ничего не подозревающая бабушка Лия и читала любимого ею Стендаля. Она читала Стендаля мне вслух, поскольку ребенок должен вырасти на хорошей литературе. Я тоже так считал и был готов слушать про жизнь в Пармской обители, лишь бы меня сняли с огромной страшной лошади и поставили на землю.

– Прокатись, – уговаривал меня безжалостный и, судя по всему, не разделяющий бабушкиных литературных вкусов дядя Джантемир, – уздечку держи крепко. Ногами ее по бокам – и пойдет.

Я боялся, но я был вежливый московский ребенок. Я был репис. Я не хотел обидеть старшего, тем более старшего, который мог снять меня с лошади и поставить на землю. Оттого я и произнес фразу, ставшую потом в ауле легендой и передававшуюся из дома в дом:

– Скажите, а если ногами по бокам, родственники этой лошади не обидятся? – спросил я.

С той минуты дядя Джантемир меня полюбил.

Он и тетя Фатима не отпускали меня ни на секунду, пытались отравить обилием еды и поручили шефствовать надо мной своему пятилетнему племяннику Мухе, жившему в соседнем доме. Долгое время я думал, что Муха – настоящее имя, и только года через два узнал, что это сокращение от Мухаммед. В делах же, которые Мухе не доверялись, – например, пойти в горы набрать желудей – за меня отвечала их пятнадцатилетняя дочь Мадина, сводившая с ума своей красотой окрестное мужское население и приезжих.

– Бэла, – прищурившись на Мадину, говорила моя литературная бабушка-драматург Лия, сидя в саду под навесом из винограда. – Вылитая печоринская Бэла.

Перед бабушкой лежали три книги. Читать одну казалось недостаточно. Почитав, бабушка откладывала книгу и выносила из дома пишущую машинку. Она громко стучала по клавишам в саду, разговаривая сама с собой, и сочиняла истории про жизнь, которая никогда не случилась. Чтобы в мире было больше книг и меньше жизни.

Бабушка Лия не выглядела как бабушка. В юности она слыла красавицей, что подтверждали портреты, висевшие на стенах ее московской квартиры. Бабушка Лия была брюнетка со светло-серыми глазами и – в пору нашей жизни в Головинке – в свои с небольшим пятьдесят все еще сохраняла фигуру танцовщицы. Она была похожа на Весну с картины Боттичелли “Аллегория Весны”, но тогда я этого не знал. Она была красива той семитской красотой, что старые итальянские мастера придавали библейским женщинам, рисуя их с итальянских матрон.

Интересно, что сама бабушка Лия почти стала итальянкой. Ее жизнь, как и моя, могла повернуться совсем по-другому. Если бы не мандарины.

Мандарины во всем виноваты.

Бабушка Лия и мандарины

В 1917-м, когда революция запылила в России, бабушке Лии было семь лет. Она росла второй дочерью в семье Берке Квартирмейстера и его жены Мариам в приморском городе Новороссийске и, как большинство детей, думала, что проживет там всю жизнь.

Мой прадед Берке Квартирмейстер – часовщик и ювелир – был донельзя странным для провинциальной еврейской жизни человеком: высокий стройный красавец со светло-пепельными волосами и зелеными глазами, Берке был франт и бабник. Никакие эвфемизмы типа “ценитель женской красоты” к Берке не подходили: он попросту был бабник.

Мариам – маленькая, темноглазая, похожая на напуганную газель – все ему прощала. Она была младше мужа на двадцать лет и боготворила его. Берке вел светскую жизнь, играя в местном любительском театре и играя в бильярд на деньги. Он одевался у старого французского портного, шившего ему на заказ костюмы и рубашки по картинкам из позапрошлых модных парижских журналов, а Мариам, Маня, с двумя дочерьми – Дорой и Лией – ждала его с ужином дома. Иногда Берке пропадал по нескольку дней, неожиданно уезжая с одной из актрис театра, скажем, в Одессу – вероятно, репетировать. Маня никогда не спрашивала, где он провел эти дни, и молча подавала на стол. Ужин всегда ждал Берке дома, как ждала его дома и сама Маня.

Берке любил спорт: он играл в крикет и стал первым человеком в России, освоившим водные лыжи.

Берке зарабатывал много денег, выполняя муниципальные заказы: он делал городские часы, некоторые из них еще ходят, как большие вокзальные часы в Бердянске. Часы Берке висели по всей южной России и отсчитывали время его веселой жизни, пока не наступила революция. Тут часы пробили и остановились.

Берке Квартирмейстер не полюбил революцию. У него не было особых политических пристрастий, и он не отдавал предпочтения ни красным, ни белым. Он просто хотел, чтобы за часы платили. Платить же больше никто ни за что не собирался. И те, и другие – по разные стороны идеологических баррикад – брали, что хотели или считали нужным. Оттого Берке затосковал и решил эмигрировать в Италию.

Один из его партнеров по бильярду, осевший в итальянском портовом городе Триесте, видно, напоминавшем ему родной Новороссийск, прислал Берке письмо о беззаботной итальянской жизни. Дольче фар ниенте – сладкое ничегонеделанье, искусство, доведенное итальянцами до совершенства, – манило Берке из разорванного гражданской войной Новороссийска, где не оставалось ни любительского театра с любвеобильными женами местных чиновников, под руководством Берке пробующими себя на сцене и вне ее, ни веселой и доходной игры в бильярд, ни милых его сердцу водных лыж с облегающим стройное мускулистое тело купальным костюмом.

В августе 18-го года после недолгих и хаотичных боев деникинская Добровольческая армия взяла Новороссийск, назначила Черноморским военным губернатором полковника Кутепова и начала расстрелы сочувствующих большевикам граждан. По городу поползли слухи о готовящихся еврейских погромах, и казаки из 3-го Донского казачьего корпуса недобро покачивались на лошадях, патрулируя центр и порт. Берке понял, что водных лыж ожидать не придется. Он вздохнул и объявил Мане, что они едут в Италию.

Берке договорился с капитаном греческого грузового судна и, заплатив ему денег, ночью погрузил Маню и девочек в лодку и на веслах направился к стоявшему на рейде “греку”. Белые запретили выезд из города без разрешения вновь собранной ими управы. Белые хотели восстановить славную дореволюционную жизнь империи, а для этого были нужны подданные. Оттого подданным не позволялось убегать от готовящейся для них славной жизни.

Ранним утром – еще в полутьме, висящей зыбкой дымкой над стальной черноморской водой, – греческое грузовое судно снялось с рейда и отправилось на юг, чтобы выйти через контролируемые турками Босфор и Дарданеллы в Средиземное море. В трюме судна сидели Берке, Маня, Дора и Лия Квартирмейстеры. Они плыли в свою новую итальянскую жизнь. Так бы и получилось, кабы не мандарины.

Доплыв до Батума, “грек” встал на погрузку. Батум был оккупирован турецкими войсками, упраздненными за ненадобностью Закавказскую Демократическую Федеративную Республику, и, несмотря на недавние бои, в городе царил обстановка опереточного веселья, которой способствовало многоязычие толпы, экзотичность пейзажа и театральность турецких униформ.

Берке следил за жизнью, разыгрывавшей для него очередной спектакль, и через два дня решил сойти на берег, чтобы купить девочкам мандарины. Ни Дора, ни Лия мандарины никогда не ели и ждали возвращения отца с нетерпением.

Берке вернулся часа через четыре, без мандаринов, но с новым планом жизни. “Маня, – закричал он еще с трапа, – собирай вещи, мы ходим здесь. Остаемся в Батуме”. Маня, не спросив ни о чем мужа, молча пошла собирать вещи.

Они погрузились в ожидавшую их в порту повозку с грустным аджарским возницей и отправились в гостиницу.

Что случилось? Где мандарины? И как же сладкая жизнь в Триесте? Все это мой прадедушка Берке мгновенно забыл, и вот почему: отправившись за мандаринами, он встретил на рынке также пришедшего за мандаринами (а возможно, вовсе и не за ними) бежавшего из Одессы человека по имени Йося Либергауз, который с ним познакомился, напоил Берке вязким сладким турецким кофе в кофейне на набережной, а затем предложил ему остаться в Батуме и совместно – “на паях” – открыть кинотеатр. Берке послушался Йосю, остался в Батуме и открыл кинотеатр.

Через год в батумский порт вошли корабли со странным, невиданным Берке флагом – Юнион Джек. С одного из кораблей сошел генерал Кук-Колисс, объявивший себя военным губернатором, а город и прилегающий к нему округ – зоной британской оккупации. В городе стало еще многолюднее и веселее, цены на продукты взлетели в очередной раз, и в кинотеатре у Берке и Йоси музыкальная программа перед демонстрацией немых фильмов с похожими на кукол актерами зазвучала песнями на английском.

Маленькая Лия пробиралась на задние ряды и смотрела одно и то же кино в двадцатый раз. Она внимательно разглядывала публику, заполнявшую темный зал, и придумывала им жизни, похожие на мелькавшие на экране фильмы. Британские офицеры приходили смотреть кино с местными дамами, брошенными отступившей Кавказской армией, и Лия помнила, как те же дамы раньше приходили в кино с оттоманскими военными, и гадала, с кем дамы придут в следующий раз. Утром она и Дора отправлялись в гимназию для девочек, где мадам Костанеди учила их быть девочками, и две старые грузинские девы, прошедшие давно закончившуюся юность в Марселе, погружали их в таинственный мир французских глаголов. После гимназии Лию ждал урок фортепиано с маэстро Чхеишвили и игры с Дорой в большом тенистом саду, где у старой смоковницы жил привязанный к ней тонкой цепью попугай-ара, купленный неизвестно зачем Берке на базаре. Возможно, Берке надеялся, что попугай выучится говорить, но говорить попугай отказывался и недобро глядел на мир выпученными глазами-бусинками. Девочкам запрещалось к нему подходить близко: попугай клевался и убил у них на глазах подбежавшего к нему соседского щенка.

Британцы скоро ушли, и турецкая армия снова заняла Батум, способствуя очередному росту цен и подъему энтузиазма у посещавших кинотеатр дам. Вся эта мелкобуржуазная идиллия длилась до марта 21-го года, когда генерал Мазниашвили выбил турок из города, восстановив Грузинскую Демократическую Республику. Восстановил он ее, правда, ненадолго,

поскольку уже через три дня в празднующий очередное освобождение город вошли войска 9-й Стрелковой дивизии Красной Армии и освободили Батум от дальнейших освобождений на следующие семьдесят лет.

Спектакль батумской жизни закончился – опустили занавес.

Томные дамы перестали посещать кинотеатр, который скоро реквизируют под революционный лекторий, и Берке заскучал от победившей революции. Пару месяцев он раздумывал, не последовать ли ему за своей младшей сестрой Бетти в принадлежавшую туркам Палестину, но, пока он раздумывал, ревком под управлением Сергея Кавтарадзе закрыл границу.

Берке Квартирмейстер в очередной раз горько вздохнул и увез семью в Екатеринодар.

Опереточная жизнь в Батуми навсегда наложила на мою бабушку Лию отпечаток театральности существования. Она в конце концов стала драматургом и писала легкие, искрящиеся неглубокой радостью музыкальные комедии, пользовавшиеся в 50-е и 60-е годы большим успехом и шедшие во всех музыкальных театрах страны. Позже, устав от театра, бабушка Лия обратилась к детской литературе, и ее книга “В стране невыученных уроков”, написанная в качестве поучения для меня, приобрела огромную популярность и была включена в школьную программу. Так бабушка Лия стала классиком при жизни.

Итальянкой бабушка, правда, все же не стала, и в том виноваты мандарины.

Жизнь не удалась

В последний год моей приморской жизни, когда пришло время окончательно возвращаться в Москву, за мной приехали родители. Тетя Фатима и дядя Джантемир накрыли стол, долго поили маму и папу домашним вином “изабелла”, расспрашивали про жизнь в столице (в основном про цены) и, когда над садом нависла вишневая южная тьма, решив, что момент пришел, приступили к главному:

– Алла, – обратился к моей маме дядя Джантемир, понимая, что, в отличие от его семьи, в нашей все решает мама, – вы с Эдвардом молодые еще. Продай, хорошо?

– Что? – спросила мама. – У меня ничего нет, дядя Джантемир. Я ничего из Москвы не привезла, только вам подарки.

– Олечку продай, – вступила тетя Фатима. – Вы молодые, себе еще родите, а я не могу уже.

– Ему здесь хорошо, – аргументировал свою просьбу заботой обо мне дядя Джантемир, – он не кашляет, как у вас в городе, на море будет жить, фрукты свежие всегда. Молоко от козы.

– А вы с Эдиком приезжайте, отдохайте бесплатно, на него смотрите, – предложила тетя Фатима. – Только не в сезон: в сезон курортникам сдаем.

– Ему у нас лучше, – закончил дядя Джантемир. – Продайте, да?

– А за сколько? – поинтересовался мой отец, которого страшно забавляла эта ситуация. – Какая ему, по-вашему, цена?

– Эдька! – закричала мама. – Прекрати свои идиотские шутки! Люди здесь неправильно понимают. Никогда! – повернувшись к хозяевам, отрезала мама. – Олег наш и будет нашим. Я скорее умру.

Смерти моей маме никто не желал, и потому я остался у своих родителей.

Вечером того дня, ложась спать, мой папа задумчиво бормотал:

– Интересно все-таки, сколько они хотели предложить?..

Меня не продали, а увезли обратно в московское детство, где оно постаралось затеряться меж уютных книжных страниц, не торопясь выбраться на холодный ветер настоящей жизни. Я не стал черкесским абреком, и мое детство продолжалось в симулякре, тщательно выстроенном из книг и населявших их героев. Так бы оно и продолжалось, но у жизни оказались свои планы относительно моего воспитания.

Конфликт города и деревни

Я не заметил развода родителей: последний год совместной жизни папа появлялся дома все реже. Это объяснялось тем, что ему удобнее работать в другом месте. Потом он перестал появляться совсем, и меня возили к его родителям – бабушке Соне и дедушке Стасе – встречаться с ним раз в неделю. Он не знал, о чем со мной разговаривать, спрашивал, что я читаю, и потом долго говорил об этих книгах сам с собой. В нашей семье все чувствовали себя уютнее, говоря о книгах.

Мама скоро вышла замуж, и с нами стал жить другой папа – папа Тема. Руستم Губайдулин вырастил меня, и я верю, что если во мне и есть что-то хорошее, этому меня научил папа Тема. Он и мама работали вместе на телевидении в литературно-драматической редакции (литдраме) и придумали первый советский ситком – “Кабачок 13 стульев”. И стали писать для него сценарии вместе со своим другом и коллегой Толей Корешковым. Они писали сценарии по очереди: каждый месяц – другой человек. За сценарий платили сто пятьдесят рублей, что стало ощутимым подспорьем к ста двадцати рублям их редакторской зарплаты, и скоро мы переехали из комнаты в коммунальной квартире в Сокольниках в купленную на заработанные зрительским смехом деньги кооперативную квартиру на окраине тогдашней Москвы – в Дегунино.

Кооператив этот был ведомственный, выстроенный для работников недавно созданного в то время Министерства газовой промышленности СССР, ставшего впоследствии российской компанией “Газпром” (и национальным достоянием). В министерстве каким-то важным инженером-разработчиком трудился отец папы Темы. Он и помог родителям купить трехкомнатную квартиру в этом кооперативе, в которой прошли мое поменявшееся детство, затем и юность.

Мы были единственной семьей в доме, не имевшей отношения к газовой, да и к никакой другой промышленности; остальные жители могли говорить о трубах, прокладке, укладке и суровом Севере, мы же могли говорить только о книгах. Тут я повстречался с настоящей жизнью, и она мне решительно не понравилась.

Дегунино в конце 60-х годов все еще было деревней. Вдоль Коровинского шоссе стояли недавно построенные коробки девяти- и двенадцатиэтажных домов, но чуть вглубь лежала деревня Коровино с деревянными избами, огородами, грязными дворами и жившими в них курами, козами и коровами. Население делилось на “новостроечных” и “деревенских”, и конфликт между ними обозначился в первый же день в школе, куда я отправился в четвертый класс.

Деревенские не любили новостроечных. Рациональных причин для нелюбви не было, но когда рациональность мешала нелюбви? Как, впрочем, и любви. Они нас не любили, и всё.

Деревенские были сплоченной группой, знали друг друга с детства, и их родители и деды знали друг друга с детства. Между ними тоже шла непонятная нам, приезжим, вражда: жившие за карьером, поросшим лопухами и жестким кустарником, воевали с жившими ближе к шоссе, но эти мелкие местные распри были мгновенно забыты перед лицом увлекательной нелюбви – к нам, новостроечным. Они часто нас били, но все с меньшим ожесточением, и к середине года этот конфликт между городом и деревней потерялся, стерся среди других, более актуальных школьных конфликтов. Кроме того, город последовательно и неизбежно наступал на деревню, избы сносили, и деревенским давали квартиры в построенных на месте их изб девятиэтажках. Все знали, что в девятиэтажках квартиры дают, а двенадцатиэтажки – ведомственные кооперативы, и в них квартиры покупают. Оттого конфликт между деревенскими и новостроечными скоро подменился глухой классовой враждой населения девятиэтажек к нам, кооперативным. Нелюбовь, как вода, находит способ всюду проникнуть и заполнить собой открывшееся пространство: было бы кого не любить.

А кого не любить – всегда найдется.

Каждое утро я отправлялся в другой мир, в странную, непонятную реальность, где не говорили о книгах. В этом мире дети дрались, мирились, отнимали друг у друга выданные на школьный обед деньги и интересовались, кто сильнее кого. И совсем не интересовались жизнями книжных героев. Или биографиями создавших этих героев писателей, их влиянием на жизнь страны, их противостоянием этой жизни, или, на худой конец, кто что в каком театре поставил, и что цензура в лице Московского управления культуры “пропустила”, а что “не пропустила”, то есть всем тем, что наполняло наши семейные разговоры и заботы. В этом мире не говорили о новых рассказах Шукшина, его самобытности, почвенности, нелитературности, о новых романах Трифонова или конфликте Аксенова с властью, о театре “Современник” и его конфликте с властью, о конфликте писателей-деревенщиков с “городскими” писателями, о Василии Белове и Андрее Битове, о Таганке и конфликте Любимова с властью, или о том, что в очередной раз не позволили снять Тарковскому. В мире, куда я отправлялся по утрам, были важны другие конфликты, и их реальность, их нелитературность утверждала себя синяками на моем удивленном этим миром лице каждый день.

Я знал только один путь борьбы с неприятной мне жизнью: убежать в книги поглубже. Оттого, придя из школы, я не садился за скучные уроки, а, погуляв с собакой – шотландским колли, подаренным мне на десятый день рождения, поскольку я тогда зачитывался шотландским писателем Вальтером Скоттом, – утаскивал полную сахарницу и кирпичик любимого бородинского хлеба на диван, где читал, читал, читал. Родители приходили домой, когда я уже спал, – у них часто были ночные тракты – записи передач, а я уходил в школу, когда они еще спали, потому мы виделись редко – на выходные.

Моими родителями стали прочитанные и многократно перечитанные книги, меня вырастили Айвенго, герои рыбаковских “Кортика” и “Бронзовой птицы”, гувернер Карл Иванович из толстовского “Детства” и прочие населявшие мою жизнь персонажи.

Такой ущербной, раздвоенной жизнью я и продолжал жить, не осознавая ее ущербности, отказываясь от предложенного мне реального существования и подменяя его придуманным другими людьми миром. Или скорее мирами, оттого что жизнь в лесковских рассказах была вовсе иной, нежели жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим. Я жил во многих мирах и жалел тех, кому выпало жить лишь в одном, и притом неприятном, мире повседневности.

Мир этот, однако, вскоре сумел пробудить меня от моего литературного сна, но – в отличие от заколдованных принцесс – не поцелуями, а кулаками.

1 сентября следующего года, надев жаркую не по погоде школьную форму, я отправился в пятый класс. Тут – на торжественной линейке – выяснилось, что в нашем классе теперь будет учиться Юра Конкин.

Конкина все знали: он был хулиган, которого постоянно наказывали и обсуждали на педсоветах. Конкин был коровинский, деревенский. Он уже однажды учился в пятом классе, но учителей это не убедило, и его оставили на второй год. Конкину было все равно: он водился с большими ребятами и курил.

На третьей, длинной, перемене Конкин собрал мальчиков вокруг себя. Он был не выше остальных, но как-то шире в плечах. Его форма была старой, прошлогодней, и от нее пахло. Конкин не носил пионерский галстук: он был исключен из пионеров.

– Значит, так. – У него был хрипловатый, приятный голос. – Всем на обеды деньги дают?

Давали всем, кроме Саши Капитаненко: его мать была алкоголичкой, и Сашу кормили по специальному талону, который раз в неделю он получал в учительской. Остальным давали по сорок копеек: пятнадцать на суп, пятнадцать на второе и десять на компот и булку.

– Значит, так. – Когда говорил, Конкин немного брызгал слюной. – Сегодня ешьте, а завтра принесли мне по десять копеек. Соберу на большой перемене.

– На что? – поинтересовался длинный и худой Гена Ермолаев. – На что собираем?

– Ты чо, мудака, что ли? – Конкин не понижал голос, когда говорил матом, как делали другие мальчишки в нашем классе. – В ебло захотел? Сейчас оформлю.

Ермолаев не хотел. Остальные, подумав, решили не интересоваться, на что Конкин собирает деньги, и разошлись тихо, размышляя, от чего лучше отказаться – от супа или от компота. Я не очень понял, что произошло, и решил посоветоваться с папой Темой.

Тот выслушал все и не удивился.

Он оглядел меня как-то по-новому и затем, подставив открытую ладонь, попросил ударить в нее со всей силы.

– Зачем? – не понял я.

Обычно мы обсуждали, где находятся какие столицы, какая страна с кем граничит, или говорили о любимых и не очень писателях. Раньше в нашей семье никто никого никогда не бил по ладоням.

– Хочу посмотреть, какой у тебя удар, – сказал папа Тема.

Я замахнулся и ударил. Получилось звонко и как будто сильно.

– Плохо, – вздохнул папа Тема. – Будем учиться.

В конце 30-х его отца, известного инженера, и политработницу-мать отправили в лагеря, а папу Тему – в детский дом для детей врагов народа. Нравы там мало отличались от тюремных, и он выжил, потому что научился драться, и драться жестоко.

В тот вечер он показал мне, как правильно ставить ноги перед ударом, как отталкиваться и разворачивать бедро, чтобы ударить всем весом, а не просто рукой. Он учил меня бить коротко и без замаха. Он учил меня бить куда больнее.

– Завтра, – сказал папа Тема, – когда твой второгодник подойдет за деньгами, скажи ему, что от тебя пусть денег не ждет. Он начнет “качать”, – это я не понял, но слушал внимательно, – тут сразу бей. Старайся попасть в подбородок, чтобы он потерял равновесие, а потом в нос, чтобы в кровь. Бей, не бойся; с мамой я поговорю.

Думаю, маме он так никогда ничего и не сказал.

Утром перед школой я занервничал. Я не хотел драться: я боялся и надеялся, что Конкин не придет в школу. Потом решил, что проще не ходить в школу самому.

Я постучал в дверь родительской спальни и сказался больным.

– Глупости. – Мама потрогала мой лоб сухими со сна губами. – Ничего у тебя нет. Абсолютно здоров.

Расстроившись, я пошел на кухню, и туда сразу вышел папа Тема. Он сел напротив и молча смотрел, как я ем гречневую кашу с молоком.

Затем сказал:

– Не бойся, все через это проходят. Сейчас побежишь – всю жизнь будешь бегать.

На большой перемене мальчишки собрались вокруг Конкина в дальнем углу и сдавали ему по десять копеек. Ермолаев отдал первым и остался стоять рядом, кивая каждый раз, когда очередной мальчик протягивал деньги.

Я не пошел. Я ушел в другой конец коридора, ближе к учительской, и надеялся, что Конкин про меня забудет.

Он не забыл и отыскал меня сам. Конкин был в хорошем настроении и не собирался конфликтовать.

– Гони гривенник, – сказал Конкин. – Я после географии сваливаю.

– Нет. – От страха я не услышал свой голос.

– Чего нет? – удивился Конкин. – Тебе что, на обед не дают?

– Мне дают. – Помня вечерний урок, я поставил ноги параллельно и чуть согнул колени, отступать было некуда. – Это я тебе не даю.

Конкин стоял в фас, чуть сбоку, удобно, под правую руку. Он смотрел на меня удивленно и не знал, что сказать, не ожидая такого поворота дел. Я понял, что не могу больше ждать, оттого что был напуган и хотел убежать.

Я ударил Конкина точно в центр подбородка с правой руки, правильно перенеся вес на левую ногу; этот удар я вчера отрабатывал больше часа. Затем слева боковым и снова с правой прямым, но оба удара ушли в воздух. Я остановился: не понял, что произошло.

Конкин лежал на полу. Он упал после первого удара и стукнулся затылком о пол. Я не знал, что делать: такую возможность мы с папой Темой не обсуждали. По плану, Конкин должен был оставаться на ногах, чтобы в него можно было бить сериями, сдвигаясь в сторону после каждых трех ударов, пока он терял время на разворот. Но Конкин лежал на полу и никуда не разворачивался.

Нас обступили, и где-то совсем недалеко уже были слышны голоса взрослых.

Конкин медленно поднялся на ноги, странно помотал головой из стороны в сторону и молча бросился на меня. Он сбил меня с ног, и мы покатались по полу. Конкин старался освободить руки и ударить в лицо, но я цепко держал пальцы замком у него на спине, не давая вырваться. Затем нас обоих – за воротники школьных пиджаков – поднял учитель физкультуры, и все кончилось.

Меня особенно не ругали и ни о чем не спрашивали: всем в учительской было ясно, что виноват, как всегда, Конкин. Меня скоро отправили в класс, а Конкина оставили до прихода завуча.

В классе все глядели на меня с удивлением, и Ермолаев крутил у виска пальцем.

Они ждали меня после уроков, на узкой тропинке, что вела от школьного двора к гаражам. Их было трое: Конкин, худой шестиклассник по кличке Аким и Ермолаев. Когда я их увидел, я хотел – еще мог – свернуть в сторону и пройти между домами. Но потом вспомнил слова папы Темы и решил не бежать.

Все равно завтра в школу.

Мне мешал портфель. Я не знал, куда деть портфель. Конкина я теперь не очень боялся, но их было трое. В конце концов я решил, что портфелем можно будет закрыться как щитом.

Первым ударил шестиклассник. Этого я не ожидал: я думал, мы с Конкиным будем драться один на один. Они набросились на меня и стали бить со всех сторон. Я успел ударить в ответ пару раз, но не сильно, без прицела, мажа и не причиняя особого вреда. Конкин и Аким прижали меня к стене гаража, держа за руки, и Конкин кивнул Ермолаеву. Тот всю драку прыгал вокруг и махал длинными руками, выкрикивая что-то на выдохе.

– Давай! – приказал Конкин. – Дай ему, Ермола!

Ермолаев съехался и, странно взвизгнув, ударил меня по лицу раскрытой ладонью. Аким засмеялся.

Конкин плюнул на мой портфель и сказал:

– Еще раз прыгнешь – изуродую, блядь. Ты мне теперь рубль должен.

Вечером, когда мама начала допытываться, я соврал что-то про велосипед. Мать хотела намазать меня зеленкой, но я не дал. Было больно, но с зеленкой на лице я не мог пойти в школу.

Папа Тема пришел с работы, как всегда, поздно; я уже лежал в постели, но не мог заснуть. Поговорив с мамой на кухне, он прошел в мою комнату и сел на кровать. Мы помолчали в темноте, потом папа Тема включил свет.

Он осмотрел меня и спросил:

– Он один тебя так?

Я рассказал про события прошедшего дня, и папа Тема стал смеяться. Я не понял: я ожидал жалости и сочувствия.

– Глупый, – отсмеявшись, сказал папа Тема. – Он же тебя испугался, сразу. Вставай, будем учиться.

В тот вечер он научил меня бить носком ноги под колено, а потом серию из двух боковых. И мы выработали план.

На следующее утро я пошел за школу, где курили. Там уже стояли ребята постарше, пряча окурки в кулаках, и с ними курил Конкин. Я оставил портфель за углом и пошел прямо к курящим. Я здесь раньше никогда не был: все мальчики в школе знали, что это место лучше обходить.

Конкин стоял ко мне спиной, и другие не обратили на меня внимания: я был никто и не мог им ничем угрожать. Они громко матерились между собой и о чем-то незлобно смеялись.

Я подошел к Конкину сзади и позвал:

– Юр!

Конкин обернулся, и мне показалось, что он чуть дернулся от неожиданности. Я подождал, пока он полностью развернется: он был нужен мне в фас. Затем я вдохнул и на выдохе ударил Конкина правым кулаком в лицо.

Нас никто не разнимал. Мы дрались молча, окруженные курящей шпаной, которая тоже молчала.

Конкин победил: он сбил меня с ног и, сев верхом, долго бил по лицу, пока я старался ловить его руки. Потом прозвенел звонок, и Конкин меня отпустил.

Мы оба бежали в класс с разбитыми лицами, и Конкин, задыхаясь от злости, подвывал сзади:

– Рубашку, падла, рубашку порвал. Меня мать за эту рубашку убьет, сука. Измордую после уроков, блядь. Пиздец тебе, Радзинский.

Он оказался человек слова.

Так продолжалось неделю: я находил Конкина утром и успевал ударить несколько раз. Конкин был сильнее и дрался лучше. Он обычно побеждал в утренней драке, но все с меньшим перевесом, и все чаще мне удавалось разбить ему нос или сильно ударить в челюсть. После уроков Конкин ждал за гаражами с кем-то из своих, и они били меня сколько могли. Следующим утром я снова ловил Конкина, чтобы успеть ударить хотя бы несколько раз в лицо.

Про деньги Конкин больше не заикался; он ничего не хотел – только чтобы я отстал.

В конце второй недели он начал от меня прятаться.

С тех пор я знал: бежать нельзя.

Так шло мое детство – собаки и книги, да драки из-за неясных, чужих мне конфликтов, казавшихся ненастоящими по сравнению с конфликтами и страстями, поселившимися в черных значках на белой бумаге книжных страниц.

Затем детство плавно перешло в московскую юность 70-х, озаренную невероятной легкостью бытия.

Жизнь вторая Советский мажор 1973–1978

Невероятная легкость бытия

Восьмой класс – переломный момент в советской жизни тех лет. Кто не собирался учиться дальше, шел работать либо уходил в профтехучилища – ПТУ, и в девятом классе оставались лишь готовящиеся поступать в институты.

После восьмого класса я пошел в спецшколу с углубленным изучением гуманитарных предметов, в основном литературы. Пошел я туда вопреки своему первоначальному намерению, и эта, как и все последующие перемены в судьбе, произошла случайно, непреднамеренно и потому может рассматриваться как изначальная модель моей жизни.

Моих *жизней*. Так правильнее.

Не думал, не гадал. Не планировал. Само случилось. Помимо меня.

Казалось бы, пойти в школу, где преподают литературу более углубленно, чем другие предметы, было логичным для меня шагом. Но нет: к восьмому классу я собирался стать биологом, вернее, этологом – специалистом по поведению животных.

Как? Почему? Естественно, я решил стать этологом, потому что прочел об этом в книгах. Как и обо всем другом.

Лет в десять я открыл для себя Джеральда Даррелла и его веселый мир, населенный экзотичной живностью и приключениями в разных далеких странах, его всепонимающей и всеразрешающей мамой, несуразным братом Ларри и своевольной сестрой Марго. Я заинтересовался животными, стал наблюдать за поведением собак и кошек, мирно уживавшихся в нашей квартире, и скоро начал читать книги Конрада Лоренца, основателя науки этологии. Я твердо решил, что стану этологом, буду ездить по разным странам, как Даррелл, и проводить поведенческие эксперименты с собаками и волками, как Лоренц.

Мир книг – мир доступного. Сказано – сделано, и весь восьмой класс я готовился к поступлению в школу с биологическим уклоном при МГУ. Мне наняли репетиторшу по биологии и химии – несчастную, озабоченную бытовой неустроенностью аспирантку из какого-то НИИ. Раз в неделю она приезжала к нам домой, и мы погружались в мир клеток, анатомию человека и заполнявшие страницы тетради длинные химические уравнения.

Родители остались довольны моим выбором: будет в семье хоть один нормальный, не зависящий от идеологии человек, не связанный с раздвоенным, шизофреническим миром советской творческой интеллигенции, находившейся в постоянном конфликте с кормившей ее властью. Чистое, хорошее дело, говорили родители. Биологи ездят по полям и лесам, рассказывала мне мама, в жизни не видевшая ни одного биолога. Еще лучше стать океанологом, добавлял папа Тема. Все время в воде. На дне. Думаю, ему нравилась идея, что под водой тебя не достанет никакая идеология.

Папа Эдик тоже одобрил мой выбор: “Подальше от всей этой омерзительной литературно-театральной возни, – сказал он. – Хоть не будешь от *этих* зависеть”.

“*Этими*” была советская власть. Моя заблудившаяся в литературе семья была твердо уверена, что у всех в стране, кроме творческой интеллигенции, спокойная, уверенная и устойчивая, не зависящая от власти жизнь. Какой эта жизнь была в действительности, моя семья не интересовалась, как не интересовалась и любой не своей действительностью. На самом деле “этими”, “другими”, “чужими” для них была не власть, а все остальные, не жившие гумани-

тарным творчеством. Этих “других” они не знали и знать не хотели и придумывали их жизнь заново, населяя ее собственными тревогами, мыслями и чаяниями. Которые, в свою очередь, не знала и знать не хотела страна.

Власть же была для интеллигенции своей, родной, неотъемлемым компонентом экзистенциальной дихотомии населенного ими симулякра. Не стало той власти – не стало и их. Советская интеллигенция была по-настоящему советской: кровь от крови и плоть от плоти режима. Когда кровь та перестала течь, оказалось, что другой крови у них в жилах нет. Как не было у товарища Сталина других писателей, кроме тех, что были.

Мне могло повезти вырваться из созданного творчеством химерного мира и войти в мир настоящий, кабы я стал биологом. На самом деле мой придуманный мир биологии был тоже мир книг, мир, созданный на их страницах и, скорее всего, не имевший отношения к настоящему миру. Я хотел убежать из одной химеры в другую. Из одной придуманной жизни – в другую, не менее придуманную.

Не тут-то было. Даже этого я не смог.

В восьмом классе меня отправили на районную литературную олимпиаду – то ли потому, что я хорошо учился по литературе, то ли оттого, что никто больше не хотел ехать. Мне сообщили, что я должен поехать и защитить честь школы. Я поехал и защитил.

Через две недели оказалось, что я выиграл олимпиаду, и меня отправили на московскую городскую олимпиаду по литературе. Ее я тоже выиграл, но не обратил на победу должного внимания, поскольку дело было в мае и я усердно готовился к выпускным экзаменам за восьмой класс и, главное, к вступительным экзаменам в биологическую школу.

Первый экзамен в ту школу оказался не по биологии, а по химии. Я его провалил – получил четверку. На следующий меня не позвали: получившие четверки были не нужны. Так я не стал этологом, и оттого поведение животных остается для людей загадкой.

Возвращаться в дегунинскую школу я не хотел: стыд, позор, да и неинтересно. Отыскав диплом победителя московской городской олимпиады, я отправился поступать в школу с углубленным изучением гуманитарных предметов на Кутузовском проспекте. Меня – ввиду олимпиадных заслуг – приняли без экзамена, и я уверенно, хоть и незапланированно, вступил на скользкую и опасную тропу высокой гуманитарности. И катился по ней еще восемь лет аж до самой посадки в тюрьму.

Советские мажоры

Москва 70-х годов – золотой поры советского застоя – жила удивительно богатой и насыщенной жизнью. По крайней мере так казалось населявшим ее детям известных родителей. Моя фамилия вызывала безошибочное узнавание, и путь в эту увлекательную жизнь оказался мне открыт.

Мы все были чьими-то дочерями и сыновьями и – за неимением других достоинств – старательно пользовались своими фамилиями. Больше-то у нас ничего не было.

Деньги не играли особой роли в советской жизни, поскольку их было не на что тратить. Статус определялся привилегиями, причастностью к когорте избранных и вхожих. Советская власть старательно создавала и поддерживала эту кастовость, и мы, дети РОДИТЕЛЕЙ, воспринимали подобную социальную стратификацию как данность и непреложность. Мне стыдно об этом вспоминать и в этом признаваться, но врать еще более стыдно.

Мир “центровых” был миром больших квартир в ведомственных домах внутри Садового кольца, где не полагалось случайных соседей. Все соседи носили известные фамилии и были кем-то. Забредшие в этот мир случайные люди с окраин должны были заслужить свою к нему принадлежность. Красивым девочкам из отдаленных мест столицы это давалось легче, от мальчиков же требовалось быть кем-то, кому – несмотря на отсутствие правильных родителей – дозволялось в этом мире остаться.

Такое случалось нечасто: наш мир функционировал по законам дарвиновского естественного отбора, где выживание сильнейших было заменено на выживание причастных. Это я заявляю как неслучившийся биолог.

Мой опыт, однако, отличался от опыта моих друзей: я вырос в Дегунине, а не в центре. Я вырос в окружении чужих, не сливаясь с ними, но и не особо выделяясь, научившись говорить их языком, но не став ими. Мой мир до девятого класса случался летом, во время каникул, когда меня отправляли в родной пионерский лагерь Литфонда СССР, куда каждый год съезжались все, кого я знал еще с детского сада того же Литфонда. Все, кто рос в заботливо сплетенном их родителями коконе чужой стране жизни, состоящей из книг, спектаклей, сценариев фильмов, – жизни из чужих слов. Мои друзья по прослойке ходили в столичные языковые спецшколы, где сидели за партами с детьми из других советских каст; у них не отнимали на перемене деньги, и их не били после уроков у грязных гаражей. Их вообще пока не били. Эти уроки им еще предстояло выучить.

С одной стороны, я был такой же, как они: обладатель правильной фамилии, чьи родители работали в правильном месте и говорили правильным языком на правильные темы. С другой стороны, я чувствовал себя взрослее, опытнее и злее. Я был чужим среди своих, никогда, впрочем, не став своим среди чужих. Я мог сойти за своего, но им не был.

Эта отдельность от окружения, нетождественность ему стали парадигмой всей моей жизни: мое черкесское младенчество отдалило меня от детсадовского литературного окружения, мое дегунинское школьное детство воспитало меня по иным законам, чем законы московских элитных школ, и дальше я жил и продолжаю жить отдельно от окружающего меня мира. Уже больше тридцати лет я живу в чужих странах, живу жизнью этих стран, оставаясь чужим – вечным приезжим. Я говорю на чужом языке, ставшим мне вторым родным, и мои дети, родившиеся и выросшие в этих странах, выросли под чужие колыбельные и считались под чужие считалки: *Mini, mini, mani mo, catch the tiger by the toe...* Мини, мини, мани мо, кэтч дзе тайгер бай дзе то...

О чем это?

О чужом.

Моей страны больше нет. Как со свойственной ему элегантностью слов, написанных за него спичрайтерами, сказал президент Рейган: “*The Soviet Union is no more*”. Нет его больше, и все тут. На месте моей страны, занимая большую ее часть, лежит другая страна – Россия. Иногда – изредка – я приезжаю туда и, как обычно, чувствую себя чужим. Я говорю на том же языке, но говорю о другом. Я не пережил с этой новой страной весь ее путь перемен, развалов, вставаний с колен и оттого не могу быть таким, как друзья моего детства и моей юности, прожившие и продолжающие проживать со своей страной все перемены, измены, горести и радости. У них есть Родина – такая, сякая, но в ней они дома, как были дома в своих “центровых” языковых школах и в своих “центровых” ведомственных домах. Они были и остаются тождественны своей жизни. Я же не был дома ни тогда, ни потом – чужой среди почти своих. Не свой среди совсем чужих.

Я привык. Даже нравится.

Тогда, в разгульных 70-х, я прибил к новой-старой группе золотой молодежи моей юности. В новой школе, находившейся во дворе дома, в котором жил дорогой Леонид Ильич Брежнев и прочая партийная элита, я нашел и старых, и новых друзей. Старше меня на год учился Паша Брюн, которого я знал по пионерскому лагерю Литфонда, – впоследствии художественный директор знаменитого *Cirque du Soleil*, с которым дружил и продолжаю дружить до сих пор. 1 сентября, опаздывая на первый урок и заблудившись в новой для меня школе, я встретил в коридоре такого же новенького и также заблудившегося, но совершенно не тревожившегося по этому пустячному поводу Сашу Лебедева, ставшего моим вечным другом. С ним и Пашей, и с другими, навсегда оставшимися моими друзьями, прошла моя золотомолодежная юность – привезенные чьими-то родителями из-за границы диски рок-групп, “Джизус Крайст Супер Стар”, джинсы “Левайс”, дешевый алкоголь и торопливый секс со случайными и менее случайными девочками в просторных квартирах внутри Садового кольца – пока не вернулись с работы взрослые.

Мы много пили, много курили и много говорили – радостные, упоенные своей юностью и незаработанной нами привилегированностью, будущие хозяева советского будущего, не подозревая, что будущее это окончится раньше, чем через двадцать лет.

No more...

Где друзья моей золотомолодежной юности 70-х, носители громких фамилий? Коля Данелия, Фил Смоктуновский, Настя Ефремова? Коли уже давно нет в живых, Фил – по последним сведениям – пребывает последние сорок пять лет в тяжелом наркотическом дурмане, и только у Насти – нормальная жизнь в различных театрах и театральных организациях.

Отчего мы пытались сжечь свою юность в алкоголе и наркотиках?

Мы были уверены, что будем жить вечно и будем жить хорошо. Мы готовились смелить своих мам и пап на их ответственных и интересных постах и жить как жили они – заботливо отгородившись от чужой жизни. Я старался, пытался проникнуться этой уверенностью, но опыт другой жизни мешал, напоминая, что нужно быть готовым драться, когда у тебя требуют деньги, выданные на обед. Когда тебя будут бить за то, что ты живешь не в том доме, или просто будут бить. Так, ни за что.

Я уже знал, что бежать нельзя.

Конец невероятной легкости бытия

Не случившись как биолог, я смирился с уготованной мне участью кого-нибудь околотературного – то ли редактора, то ли критика, хотя в душе я – конечно же – хотел стать писателем. Ничего более ценного, более желанного и достойного я представить не мог.

Писатели в моем представлении были не только демиургами, создававшими и населявшими собственные миры. Они были носителями определенной миссии, определенного взгляда на мироздание, на отношения между богом и человеком и между человеком и обществом. Писатели взывали к каждому исполнить свой долг.

Жизнь как служение.

Все было сказано пушкинскими строками:

Встань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполни волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Вот так – ни больше, ни меньше. Особенно ни меньше. На меньшее я был не согласен.

Взрастившая нас русская литература XIX века несла в себе огромную опасность для социальной ткани советского общества, оттого что требовала от читателя исполнения миссии, восстановления справедливости и защиты униженных и оскорбленных. Наши деды, начитавшись этой литературы, пошли на баррикады сначала в 1905-м, затем в 1917-м, потому что осознали свой долг перед угнетенным самодержавием народом. Русская классическая литература требовала, взывала, жгла сердца и умы людей глаголами и другими частями речи, и мы, внуки и правнуки совершивших революцию, ощущали свою миссию, свой долг: рассказать правду. Сорвать завесу лжи и восстановить в мире справедливость. Общественный конфликт между “узурпировавшей” власть группой партийных функционеров и “угнетенным” народом воспринимался как конфликт космический, как борьба добра и зла, оттого что русская литература втолковала нам апокалиптическое видение мира, создав образ конечной битвы между светом и тьмой с шагающим впереди революционной матросни Иисусом Христом – в белом венчике из роз. Русская литература XIX века, как никакая другая, ощущала себя наследницей библейских пророков. Она велела читателю не просто читать, а выбрать сторону и действовать в соответствии с возложенным на него долгом, поскольку долг тот возложен свыше:

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал...

Мы внимали божьему гласу, доносившемуся до нас через рупор российской словесности. Мы не могли не выполнить долг, ибо по его исполнению Федор Михайлович и Лев Николаевич обещали нам никак не менее, чем “*слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение*”. Мы ощущали себя солдатами на поле боя, где разыгрывалась вселенская битва добра со злом. Мы становились участниками Битвы.

Отчего нам было просто не читать книги и сочувствовать героям в их переживаниях? Не могли: гнал нас в атаку на силы зла моральный императив. По крайней мере тех из нас, кто внял гласу сверху, а не остался лежать в пустыне. Тех, кто ощущал себя духовной жаждой томимым.

Русская литература поломала много жизней. Я думаю, советская власть могла победить диссидентское движение, только отменив преподавание русской литературы в школах. Странно, что никто в КГБ до такого не додумался.

Жизнь моя по мере углубления в литературу становилась все менее и менее веселой, менее мажорной или, пользуясь нынешними социологическими терминами, менее *мажорской*. Веселье последних двух лет школы, прошедших в угаре московской золотомолодежности, в бесконечных полупьяных сборищах в пустовавших больших кооперативных квартирах чьих-то очередных привилегированных родителей, сменилось трезвостью начала студенческой жизни.

Я – уютно катаясь по проложенному судьбой и семьей биографическому руслу – поступил на филологический факультет МГУ, а куда же еще? Солнце должно было выйти для меня поутру следующего дня, застав меня младшим редактором какого-нибудь никому не нужного литературного журнала или литературным критиком, пишущим ненужные статьи о не нужных стране книгах. Чем не жизнь? Ан нет: глагол прожег дырку в сердце, и глас воззвал меня к действию. Я вытянулся по струнке и четко ответил: “Есть!”

Самиздат был непрременной частью жизни нашей семьи: родители приносили и прятали в разных местах квартиры полуслепые копии перепечатанных книг Солженицына, Зиновьева, Даниеля и Синявского. Я находил эти наскоро и неумело спрятанные страницы и читал их запоем, ощущая причастность к Битве. Потом так же легко эти страницы нашли оперативники КГБ, проводя у нас обыски.

Филологический факультет МГУ в середине 70-х был женским царством. Возможно, таковым он и остается. Тогда же соотношение полов было примерно 20:1 не в пользу сильного пола. Или, наоборот, в пользу сильного пола, учитывая редкость и ценность мальчиков на факультете.

Учили нас прекрасно, и учиться было интересно. Лекции по развитию русского языка читал профессор Панов, высказывания которого мы считали фрондой. Ничего особо смелого Панов, конечно, не говорил, но мы – повсюду ищущие оппозиционность – интерпретировали его слова, как нам хотелось.

На лекции по изменению орфоэпических норм – правил произношения – Панов среди прочего приводил примеры отвердения переднеязычных зубных звуков [д] и [т] перед мягкими губными, как, скажем, [в].

Михаил Викторович говорил тихим занудным глухим голосом, и мы ловили каждое слово:

– Произносительной нормой русского языка ранее считалось мягкое произношение переднеязычных зубных перед мягкими губными, как в словах “дъверь” и “Тъверь”. В дальнейшем переднеязычные отвердели, и теперь допускается произносить “дверь” и “Тверь”. Впрочем, в слове “Тверь”, – подумав, добавил Панов, – произошли более радикальные фонетические изменения: теперь оно произносится “Калинин”.

Мило, остроумно, но при чем тут политика? Мы же все наделяли политическим смыслом, оттого что власть наделяла политическим смыслом любое общественное деяние. Мы были хорошими учениками советской власти, приняв ее правила игры.

Советская власть методично и последовательно лишала своих граждан общественного пространства. Все, абсолютно все к 70-м годам рассматривалось пережившей оттепель 60-х властью через призму политической лояльности либо отсутствия оной. Советская власть старательно зачищала любые, самые невинные проявления несанкционированной общественной активности, запрещая преподавание йоги, закрывая кружки уныло тянущих звук “ОМ” кришнаитов, не разрешая выступления рок-групп и закатывая бульдозерами выставки неформальных художников, оттого что в стране времен застоя царила паранойя монополии власти на любую инициативу.

Общественное поле перестало существовать, автоматически превратившись в поле политическое. Власть оказала себе медвежью услугу, вытолкнув в это политическое поле множество совершенно не оппозиционно настроенных людей, объявив их инициативы скрыто нелояльными по отношению к власти, хотя ничего нелояльного в этих общественных и творческих

инициативах изначально не планировалось. Оттого советская власть, казавшаяся себе вечной, так быстро пала: к ее концу многие люди считали свое – подчас бытовое, подчас бытийное – недовольство политической оппозицией и легко распрощались с надоевшей им властью, как легко мы снимаем тесную обувь, придя домой.

Нынешняя российская власть, судя по всему, повторяет ту же ошибку, объявляя общественные инициативы граждан скрытой политической оппозицией. Все эти движения по проверке плагиата в диссертациях чиновников, все инициативы по запрету мигалок или протесты водителей-дальнобойщиков против платных дорог рассматриваются властью как вызов, как борьба с ее монополией на реформы, на критику и, объявленное таковым, таковым становится. Если у общества нет другого, кроме политического, пространства, все становится политическим. Частная жизнь граждан перестает быть частной, и подавление своей частной жизни граждане начинают воспринимать как репрессии. А репрессии рождают оппозицию.

Беда любой тоталитарной, как и авторитарной, власти, что она не сознает пределов собственной компетенции, считая, что все имеет к ней отношение, что все в ее ведении и должно ею контролироваться. Как “у России нет границ”, так и у власти нет границ, и она ослабляет себя, простирая свой контроль все дальше и дальше. Козьма Прутков уже высказался относительно того, можно ли объять необъятное. И был прав.

Советская власть считала малейшее проявление неофициоза оппозиционным по умолчанию. Мы поверили власти и тоже начали считать любое отступление от канона навязываемой нам государственности смелым вызовом. Странно вспоминать, но театральные постановки на Таганке, бывшие просто формальными изысками любимовской режиссуры, казались нам верхом смелости, возведенной на площади баррикадой сопротивления официальной косности и ретроградству. Милая студенческая клоунада руководимого Марком Розовским Театра МГУ “Наш дом” рассматривалась как серьезное политическое высказывание, и мы, изголодавшиеся по свободной инициативе, искали ее везде, искали во всем. А как поется в старой советской песне, кто ищет – тот всегда найдет.

Я нашел достаточно быстро, потому что был окружен творческой интеллигенцией, сталкивающейся с тоталитарным контролем власти каждый день. Многие чаяния творческой интеллигенции были именно *творческими*, но поскольку все воспринималось властью сквозь призму идеологии, то и становилось таковым. Творческое высказывание превращалось в политическое и начинало жить как политическое заявление, как вызов. Сделав все политическим, советская власть победила в конце концов саму себя.

Я начал с распространения самиздата, следуя советскому диссидентскому правилу: прочитал сам – дай прочитать другому. Принцип размножения, умножения диссидентов был прост: узнал сам – расскажи другим. Я узнавал сам и рассказывал.

Я старательно играл в подполье, гордясь собственной смелостью. Больше всего в этой игре мне нравился я сам, вернее, моя кажущаяся тождественность тем, о ком я читал в правозащитной литературе.

Власть же отнеслась к этой игре более ответственно, приняв ее за нечто серьезное, заслуживающее внимания. Это лестное для меня внимание в конце концов обрело форму отеческой заботы, и 23 ноября 1982 года Комитет государственной безопасности СССР арестовал меня по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, что являлось особо опасным государственным преступлением, подпадавшим под статью 70 (1) УК РСФСР.

Жизнь третья Антисоветский агитатор 1979–1982

Диссидентство как самоутверждение

У меня нет претензий к Комитету государственной безопасности СССР: меня посадили за дело. Из тридцати четырех эпизодов, вмененных мне следствием в обвинительном заключении в качестве доказательства моих преступных деяний, я был не согласен, и до сих пор не согласен, лишь с одним: я никогда не призывал к уничтожению коммунистов. Я говорил о необходимости, с моей точки зрения, уничтожения коммунизма в его тоталитарной, советской интерпретации, но никогда, никогда не призывал к физическому уничтожению коммунистов. Суд, однако, признал меня виновным по этому пункту обвинения, как и по остальным тридцати трем.

Все, в чем меня обвинили, я действительно делал и не скрывал этого во время следствия. Я признал свои действия как факт, но отказался считать их преступлением, потому что как можно считать преступлением распространение книг и идей? Следствие же базировалось на оценке распространяемых мною чужих книг и собственных рассказов, статей и высказываний как антисоветских, что позволяло квалифицировать мои действия как антисоветскую агитацию и пропаганду.

С квалификацией я спорить не мог: я действительно был антисоветчиком, но не считал это преступлением и уж тем более не собирался раскаиваться. Наоборот, я был крайне горд, что ко мне относятся настолько серьезно: обвиняют по статье 70-й, то есть в особо опасном государственном преступлении, а не в “легкой”, по диссидентским представлениям, статье 190-й.

Статья 190-я предусматривала намного меньший срок и оттого не считалась особо серьезной. Мое же тщеславие было удовлетворено полностью: мое дело вел КГБ СССР, а не просто республиканский КГБ, статья у меня была тяжелая и почетная, чего еще можно желать? Я чувствовал себя важным, взрослым человеком, которому воздали “по заслугам его”.

Впервые КГБ обратил на меня внимание на втором курсе университета: меня неожиданно вызвали в районный военкомат. Я недоумевал, поскольку учился в МГУ и как студент был освобожден от призыва. Явившись в военкомат, я сдал повестку дежурной девушке, забыв сделать комплимент, как ей идет военная форма. Девушка заулыбалась, запротестовала, но осталась довольна.

Ее расположение ко мне, однако, быстро прошло, когда она взглянула на поданную ей повестку. Девушка (она и вправду была мила) проверила лежавший перед ней список, нашла в нем нечто ее удивившее и позвонила куда-то по телефону. Назвав мою фамилию, она выслушала короткий ответ, кивнула, повесила трубку и, не глядя на меня, отдала повестку обратно.

– В шестой, – сообщила девушка металлически отвердевшим голосом.

Я понял, что осведомляться, что она делает после службы и можем ли мы делать это вместе, не стоит, и пошел в шестой.

Там меня ждал некто в гражданском. Некто был старше меня лет на десять и выглядел сурово. Он сидел за столом, на котором лежала одинокая папка. Он взял повестку и, кивнув на стул напротив, скомандовал: “Садись”.

Меня покорило обращение на “ты”: я этого не любил. Некто, впрочем, явно был нечувствителен к моим эмоциям, поскольку молча читал (или делал вид, что читает) какие-то мате-

риалы в раскрытой перед ним папке, не глядя на меня. Я подождал минуты три, затем вынул из портфеля данный мне на два дня томик Борхеса, раскрыл его и тоже принялся читать. Какое-то время мы сидели и читали каждый свое.

– Так, – сказал наконец некто, – Радзинский.

Обнаружив знакомство с моей фамилией, он снова замолчал, разглядывая меня, словно пытаюсь увидеть что-то, что я прячу. Я тоже молчал. Поскольку некто явно не собирался продолжать беседу, я пожал плечами и снова принялся за чтение.

То ли некто не любил Борхеса, то ли был возмущен моим легкомыслием, но он встал и с шумом закрыл папку. Сказать он ничего не сказал, но сделал какой-то странный жест рукой, словно указывая на угол маленькой комнаты с покрашенными блеклой зеленоватой краской стенами. Я оглянулся на угол, не нашел там ничего достойного внимания и снова взялся за чтение.

– Читать перестали! – отрывисто приказал некто. – Радзинский. Сюда не читать пришел.

Ему явно не давались полные предложения с существительными и с придаточными предложениями. Как филолог, я это отметил.

Я вежливо закрыл книгу, но не убрал ее в портфель.

Мы помолчали еще немного. Затем некто оперся на стол руками и чуть подался вперед.

– Что ж ты так? – спросил некто.

Подумав, я счел вопрос скорее риторическим и, стало быть, не требовавшим ответа.

Некто остался недоволен повисшей в комнате паузой и продолжал в характерном для него своеобразном синтаксическом стиле:

– Студент МГУ. Ты почему? У нас сведения.

Глаголы он тоже, видать, не любил. Его тон не оставлял сомнений: некто был мною недоволен.

– Почему не отвечаешь? Сказать нечего? – поинтересовался некто.

– Представьте, пожалуйста, – потребовал я. – И объясните, по какому поводу вы меня вызвали.

– Я тебе представляться не обязан, – отрезал некто, обнаружив способность говорить полными предложениями. – Здесь вопросы задаем мы.

Я было хотел процитировать фразу Марка Твена о том, что во множественном числе о себе говорят либо королевские особы, либо люди, больные глистами, но вовремя остановился.

Некто сел на стул и продолжил:

– Что не нравится? Студент МГУ. Родители уважаемые. В армию захотел? Там тебе не МГУ.

С этим я спорить не мог: он явно знал, о чем говорил. Подготовленный был товарищ.

– Пока вы не представитесь, я беседовать с вами не буду. И объясните, по какому поводу меня вызвали.

– Петров, – неожиданно представился некто. – По поводу твоей антиобщественной деятельности. Запрещенную литературу распространяешь. У нас сведения. Достоверные.

Я к тому времени прочел много правозащитной литературы, объяснявшей, как нужно вести себя на допросе.

Так я и повел:

– Удостоверение покажите, пожалуйста, – потребовал я и добавил: – По закону обязаны.

Лапидарный строй речи был явно заразителен.

Некто Петров покачал головой, расстроенный моим формальным отношением к вроде бы уже завязывавшейся беседе, и, неожиданно достав из внутреннего кармана пиджака узкое красное удостоверение личности, помахал им передо мною, зажав большим толстым пальцем название выдавшей удостоверение организации. Затем убрал его обратно в карман.

– Вы открыть должны, – сказал я.

– Открывать не просил, – уличил меня в некорректности Петров. – Просил показать – я показал.

Формально он был прав: я просил показать, а не открыть удостоверение. Этот раунд словесной дуэли я проиграл.

Победа дала Петрову возможность проявить великодушие.

Он остался доволен собою и решил сменить тактику:

– Олех, – обратился ко мне Петров по-дружески, напирая на звук “х”, так что получилось “Олех-х-х”. – Зачем тебе? Родители такие. Ты что, думаешь, эти тебе друзья? Они тебя вовлекут, а сами в кусты. А ты пострадаешь.

Эх, был Петров провидец. Но я его не послушался.

Он продолжал рисовать разные варианты моего возможного будущего короткими, подчас назывными предложениями, пока я молчал, ожидая вопросы по существу. Мне очень хотелось проявить героизм и отказаться давать показания о других людях, но некто Петров мне такой возможности не дал и ни о чем, кроме риторических обращений типа “Зачем тебе это? Почему просто не учишься?”, не спрашивал. Он вообще ничем особо не интересовался.

У него, вероятно, было задание провести со мной профилактическую беседу, он и проводил. Никакой информации ни о других, ни о собственно моей “преступной” деятельности он не пытался выведать. Был, вероятно, не любопытен.

Тогда я решил сам его расспросить.

– А почему вы меня в военкомат вызвали? – поинтересовался я. – Военкомат тут при чем?

– Пока в военкомат, – многозначительно уточнил Петров. – Будешь продолжать – вызовем в другие организации. Другой будет с тобой разговор.

Как в воду глядел.

Думаю, был он мелкий гбэшник из районного отдела госбезопасности, которому поручили меня пугнуть. К сожалению, у него это не получилось, и я продолжал свою антигосударственную и антиобщественную деятельность, приободренный вниманием КГБ.

Мы наш, мы новый мир построим

С раннего детства я страдал бесконечными гастритами, колитами, гастродуоденитами и прочими желудочными недугами. Я особенно не обращал на них внимания, ел (а главное,пил) что хотел и продолжал себе жить. В начале третьего курса я заболел, и притом серьезно.

Меня продержали в больнице более трех недель. Я и раньше лежал в больницах, но в этот раз врачи были по-настоящему озабочены: устраивали бесконечные консилиумы, вызывали важных профессоров, которые долго смотрели на рентгеновские снимки, а потом больно мяли мой живот. В конце концов вынесли вердикт: множественное поражение кишечно-желудочного тракта, язва, панкреатит и прочие прелести. Необходим строгий режим питания, покой и отсутствие нагрузок.

После семейного совета я согласился с доводами родителей и оформил академический отпуск в МГУ. Я должен был пропустить год учебы.

Год этот стал для меня очень важным: моя однокурсница Наташа Табачникова, ставшая впоследствии известным театральным деятелем, поговорила со своей замечательной мамой Идой Феодосьевной, и меня взяли работать на готовившуюся в то время выставку “60 лет советского кино”. Моя должность отчего-то значилась как инженер.

Я работал среди взрослых людей, и требовали с меня по-взрослому. Работа, как и все, связанное с кино, была странной смесью творчества и администрирования. Я – самый младший и некомпетентный член команды под руководством бывшего представителя Совэкспортфильма в Бельгии Отари Тейнешвили (зачем там нужен был такой представитель?) – занимался в основном мелкими административными проблемами, мотаясь между офисом в центре и ВДНХ, где монтировалась экспозиция. Свобода передвижения и посещения была полная, никто не интересовался моим графиком: сделал бы работу. Тут, на выставке, я и познакомился с Н.

Н., киновед из НИКФИ (Научно-исследовательский кинофотоинститут), организации, курировавшей нашу выставку, намного старше и опытнее меня, был типичный московский интеллигент тех лет: саркастичный, хорошо, но однобоко образованный и страстно не любивший советскую власть. После какого-то моего критического замечания в офисе Н., видно, отметил меня как “своего” и в одну из совместных поездок на ВДНХ провел со мной осторожную беседу, прощупывая – до какой степени я “свой”.

Судя по всему, я выдержал экзамен, потому что дня через два он молча вручил мне напечатанную в Голландии книгу генерала Григоренко “Мысли сумасшедшего”. Я так же молча ее взял.

Прочитал за два дня и принес обратно.

– Уже перепечатал? – спросил Н. – Так быстро?

Перепечатал? Я и не думал об этом: просто прочел.

– Перепечатай, хотя бы три экземпляра, больше – плохо видно, – сказал Н. – И дай другим.

Так я узнал принцип диссидентской деятельности: не просто ознакомление, а распространение.

У Н., судя по всему, был налаженный канал доставки “тамиздатовской” литературы: весь год моей работы на выставке он снабжал меня настоящими книгами, а не перепечатанными с них полуслепыми листочками, которые я видел у родителей с детства. Теперь по вечерам по очереди с мамой мы перепечатывали данные нам на несколько дней книги, одновременно их читая. Таким образом у нас скопилась обширная библиотека первых экземпляров; второй мы отдавали Н., а третий и четвертый шли “в народ”. Народ обычно перепечатывал со своих экземпляров, и книги отправлялись дальше – рассказывая, объясняя, требуя.

Многие из книг, которые дал мне Н., я читал и раньше, но в перепечатанной самиздатовской форме. Отчего-то настоящие книги – с обложкой, наборным шрифтом, в компактном формате (удобнее прятать!) – казались мне более... настоящими, и написанное в них влияло на меня сильнее, чем машинописные копии. Странный эффект, но факт.

Н. никогда не рассказывал мне, откуда достает книги, да я и не спрашивал. Оставшись наедине, мы часто говорили о прочитанном. Однажды я спросил его, как жить дальше с грузом всей этой правды.

– Два пути, – сказал Н. – Или на площадь и в тюрьму, или уезжать. Каждый выбирает сам.

Интересно, что выбрал он? Закончив работу на выставке, я потерял с ним связь и не знаю, что с ним стало. Зато знаю, что выбрал я.

На пятом, дипломном курсе я устроился работать. Я не боялся диплома, оттого что половина у меня была уже написана – в курсовых работах. Тему я выбрал еще на втором курсе – “Библейские образы в русской литературе второй половины XIX века” – и старательно писал курсовые на разные интерпретации этой темы, подбирая материал, составляя библиографию, оттачивая аргументы. Поэтому пятый курс мне в отличие от большинства дипломников оставлял сравнительно много свободного времени. А деньги были нужны.

Меня взяли по специальности – преподавать литературу и русский язык в знаменитой 127-й школе рабочей молодежи в Дегтярном переулке. Молодежь в 127-й школе была, впрочем, сплошь нерабочая. Здесь учились дети творческой и иной элиты, не вписавшиеся по разным причинам в нормальные дневные школы. Этим детей – перед институтами – нужно было куда-то засунуть для получения диплома о среднем образовании, а свободное время потратить на репетиторов – или просто потратить. Нужно сказать, что мои ученики тратили его весьма успешно.

Многие из них собирались последовать за своими родителями и стать художниками, музыкантами, литераторами, актерами. Другие же не собирались стать никем и наслаждались сниженными требованиями по естественнонаучным и математическим предметам, не особенно, впрочем, утруждая себя предметами гуманитарными. Кроме того, в школе учились студенты школы-студии при ансамбле Моисеева, участники Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и другие студенты – участники разных исполнительских коллективов, которые по причине творческой загруженности не могли учиться в нормальных дневных школах.

Танцоры и певцы были наиболее честной рабочей молодежью: они даже не старались делать вид, что учатся. Певцы использовали время школьных уроков для сна, а танцоры-моисеевцы, придя в класс, доставали из сумок еду, запрещенную им драконовским танцевальным режимом питания, и сосредоточенно ели булки и сладости, подбадривающе кивая мне, что, мол, продолжайте, Олег Эдвардович, вы нам не мешаете. Поев, они тут же засыпали.

В школе царил полулицейская, полуполицейская обстановка, оттого что наш директор Моршинин одновременно хотел сделать школу флагманом столичного образования и боялся, как бы предложенные реформы не были рассмотрены властью как идеологический вызов. Я спокойно функционировал в этой шизофренической атмосфере, потому что привык к подобной двойственности с детства: так жила вся советская творческая и гуманитарная интеллигенция.

Я помнил уроки Н. и потому, отыскав нескольких учеников, которые не засыпали на моих уроках, пригласил их на факультативные занятия к себе домой на выходные, где, понятное дело, вручил им перепечатанные полуслепые копии самиздата, наказав дать читать другим. Постепенно я и еще один преподаватель, тоже бывший студент филфака МГУ Сережа Л., организовали регулярные лекции по “закрытым” темам русской и советской истории и по запрещенным властью произведениям. К этим лекциям мы усердно готовились, перепечатывая запрещенную литературу, чтобы на выходные раздать ее “детям”. Дети, бывшие младше

нас всего на пять-шесть лет, покорно брали вручаемое им переходящее знамя свободы и, судя по всему, ничего не читали.

Вскоре нашлись и те, кто читал. В 1981 году мне удалось убедить Моршинина, назначенного, кстати, наблюдать за идеологической чистотой в нашей насквозь богемной школе, что необходимо преобразовать школу рабочей молодежи в Центр образования взрослых. Он заразился этой идеей, поняв ее потенциал для собственной карьеры, и я быстро – буквально за три дня – написал концепцию Центра, которую мы с ним и представили созванной для этого коллегии Академии педагогических наук.

Идея Центра была проста: работающим людям, не преследующим цели формального образования, негде получить знания по интересующим их дисциплинам. Мы предлагали создать Центр, отвечающий таким потребностям, направленный на три сегмента взрослой аудитории:

- для не окончивших среднюю школу – программа среднего образования (то есть то, что наша школа уже и так делала);

- для окончивших среднюю школу – широкий спектр факультативов институтского уровня по гуманитарным и научно-естественным дисциплинам, а также юриспруденции;

- для тех и других – студии, обучающие профессиональным навыкам художественной фотографии, промышленного дизайна, театрально-постановочного дела, вокала и т. д. и т. п.

Почему предпочтение было отдано именно этим предметам? Очень просто: я исходил из возможности привлечь своих друзей: юриспруденцию, например, должен был преподавать мой близкий друг, ныне знаменитый российский адвокат и ресторатор Саша Раппопорт. Театральная же студия была доверена другому ближайшему другу детства, впоследствии выдающемуся деятелю российского театрального авангарда Боре Юхананову.

После создания Центра моя аудитория сильно расширилась: лекции по русской и советской литературе стали посещать взрослые люди, приезжавшие после работы послушать про диалог Достоевского и Чернышевского о судьбах России и революции, про Андрея Платонова и Осипа Мандельштама. Мои публичные лекции были на грани дозволенного в советское время. Те же, кого я считал заслуживающими доверия, приглашались на воскресные факультативы, где я рассказывал о других авторах и, естественно, раздавал литературу, о которой рассказывал.

Мне и моему соратнику по этой миссии, коллеге-преподавателю и выпускнику родного филфака МГУ Сереже Л., удалось к началу 80-х годов наладить регулярное размножение и распространение запрещенной литературы. Другой выпускник филфака, Слава З., подрабатывавший в издательстве МГУ, где я и сам периодически подрабатывал корректором, обеспечил нам доступ к копировальной машине.

Ксероксов тогда было совсем мало. Одну такую машину и закупила типография МГУ, находившаяся прямо напротив “стекляшки” – корпуса гуманитарных факультетов, где мы со Славой учились. Мы встречались на факультете, находили пустую аудиторию, я вручал Славе очередную запрещенную книгу и через день-два получал от него обратно книгу и ее десять копий. Эти копии сразу шли в дело, расходясь между слушателями организованного мною факультатива.

Сам себе я казался важным диссидентом, руководителем подпольного кружка, бойцом сопротивления тоталитарному режиму. Я рвался в бой. Хоть – на время – и формально стал пацифистом.

Пацифист Радзинский

Диссиденты в те годы делились на две большие группы: те, кто собирались эмигрировать и оттого старались стать неудобными для власти, чтобы их отпустили, и те, кто были действительно озабочены положением с правами человека в стране, эмигрировать не собирались и активно за эти права боролись. Они – Сергей Ковалев, Александр Подрабинек, Юрий Орлов, Анатолий Марченко и многие, многие другие – в отличие от меня были настоящими борцами: они боролись за свободу других, “за нашу и вашу свободу”; я же боролся за собственный “героический” образ.

Я ощущал себя солдатом на поле боя между добром и злом, а солдаты не дезертируют. Борьба с тоталитарной идеологией рассматривалась мною в рамках абсолютного, апокалиптического нравственного конфликта, и, зараженный этим катастрофическим мировоззрением – подарок от русской литературы с ее библейским мессианством, – я никуда не собирался уезжать, хотя знал многих, кто собирался.

Когда они спрашивали меня, отчего я не хочу эмигрировать, я, картинно посуровев, гордо отвечал что-нибудь героически-патетическое:

– Вот прогоним большевиков, тогда и поедем.

Или:

– Если все уедут, кто будет бороться?

Я “делал жизнь” не “с товарища Дзержинского”, а “с товарища Солженицына” и известных правозащитников – Владимира Буковского, Юрия Орлова, генерала Григоренко, академика Сахарова. Эта причастность к большему, чем ты сам, причастность к долгу, к служению, внушенная классической русской, а затем и советской литературой – “гвозди бы делать из этих людей”, – давала мне ощущение собственной нужности и важности, собственного места в строю.

И я спешил его занять.

Среди тех, кто планировал уезжать, было множество хороших, достойных людей: они попросту не хотели жить в тоталитарной стране, а бороться с этим тоталитаризмом по разным причинам не собирались. Кто-то считал это делом безнадежным, кто-то не верил, что представление части интеллигенции о демократии соответствует представлению большей части советского населения о хорошей жизни, а кто-то не чувствовал себя дома в СССР. Одним из таких был мой друг Сережа Батоврин.

Сережа – старше меня на год – был взрослее и умнее на двадцать. Его отец, дипломат Юрий Батоврин, служил в советской миссии при ООН в Нью-Йорке, где Сережа и рос до шестнадцати лет. Затем отца перевели в Москву, и семья вернулась на родину. Родина Сереже как-то не показалась, и он решил уехать обратно в жизнь, которую знал и любил: в Нью-Йорк.

Сережа рассказывал мне, что ярчайшим впечатлением его детства стала нью-йоркская демонстрация протеста против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году. Он, одиннадцати лет от роду, смотрел из окна особняка советской дипломатической миссии на занявшую улицы многотысячную толпу с транспарантами, осуждающими советскую оккупацию, и пытался соотнести образ агрессора с образом самой справедливой страны в мире, которой служил его отец. И то, и другое не могло быть правдой. Вернувшись в Москву, Сережа решил выяснить, что же является истиной.

Родина не замедлила дать Сереже ответ. К восемнадцати годам, будучи сложившимся художником-концептуалистом, он быстро нашел в Москве других нонконформистов и вместе с ними организовал выставку на чьей-то квартире. На второй день выставки ее посетили любители искусства в штатском, картины конфисковали, а Сережу, пытавшегося объяснить “искусствоведам” из КГБ, что ничего крамольного в данной художественной инициативе нет,

отправили в психбольницу. Так советская власть превратила нейтрального художника в ярого диссидента.

Устроив пару выставок, написав несколько манифестов советского художественного нонконформизма и став завсегдатаем московских психбольниц, Сережа Батоврин решил найти более благодарную аудиторию для своего творчества: он решил эмигрировать. И его было не остановить.

Эмигрировать в те годы можно было только в Израиль. У Сережи имелись для этого основания: его мама Любовь Леонидовна была наполовину еврейка, а его жена, подруга моих детства и юности Наташа Кушак, была просто еврейкой. Не наполовину.

Проблема заключалась в его отце: чтобы уехать на постоянное место жительства, требовалось согласие родителей. Власть обосновывала это долгом взрослых детей заботиться о родителях, когда те достигнут преклонного возраста. По сути же, это был удобный механизм отказа в выезде.

Сережин отец – карьерный советский дипломат, – конечно, отказался дать сыну такое разрешение. Сережа, а с ним и Наташа стали отказниками, даже не успев подать документы на выезд. Никакого другого способа уехать, кроме как стать крайне неудобными власти, им не осталось.

Я знал Наташу всю свою сознательную жизнь: ее отец был известный детский поэт Юрий Кушак, и наше пионерлагерное детство при Литфонде СССР подружило нас навсегда. Наташа и познакомила меня со своим сначала возлюбленным, а потом мужем Сергеем Батовриным. Оба в это время были активно вовлечены в московское художественное нонконформистское подполье, устраивавшее неофициальные выставки и разнообразные художественные акции, при разношерстности стилей объединенные неодобрением властями подобных инициатив.

Выставки меня мало интересовали: я считал это неэффективным способом борьбы с тоталитарной идеологией в основном по невежеству и неспособности оценить нефигуративную (как, впрочем, и фигуративную) живопись. Я был воспитан на слове и верил только слову и в слово. Мое ущербное эстетическое воспитание не позволяло мне понять художественную ценность советского нонконформизма, политическая ценность которого, с моей точки зрения, была невысока: художественный нонконформизм не имел отношения к распространению литературы, к мессианскому служению ознакомлению людей с истиной, то бишь к тому единственному, что я знал и ценил. Я на полном серьезе воспринимал свою деятельность как возложенную свыше миссию, считая ее продолжением исполнения завета, данного Иисусом апостолам в Евангелии от Матфея 28:19–20:

19. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
20. уча их соблюдать все, что Я повелел вам...

Вот так. Ни более и ни менее. Оставалось найти апостолов.

Таковыми должны были стать слушатели моих факультативов, и особенно одна группа – физики из академгородка в Долгопрудном Витя Блок, Юра Хронопуло, Боря Калюжный и Гена Крочик. Все они были кандидаты и доктора наук, много старше меня, но приходили на мои факультативы послушать то, что им никогда не рассказывали, и получить книги, которые никогда не читали.

Физики апостолами становиться отказались, поскольку не собирались оставаться в СССР. Эмигрировать они не могли, оттого что у них был разной степени допуск к секретным сведениям, а людей с допуском советская власть не отпускала. Потому они должны были найти другой способ.

Я знал многих отказников – тех, кому не разрешили эмигрировать, но Сережа Батоврин был одним из самых громких и ярких. Кроме того, он и Наташа были моими личными друзьями. Физики же жили в городе Долгопрудном и никого из диссидентско-отъезжанской среды не знали. Я привел их к Батовриным, и вместе с Сережей они основали ставшую знаменитой Группу за установление доверия между СССР и США.

Потом я слышал множество споров о том, кто придумал Группу Доверия. Думаю, идея была плодом коллективного творчества, хотя по провокационной гениальности замысла идея эта очень смахивала на батовринскую. Сережа обладал поразительным умом в области идеологической борьбы: он, как никто, умел разозлить власть, сохраняя при этом относительную безопасность для участников процесса. Кроме того, он действительно был пацифистом и сторонником ненасильственного сопротивления. Сережа Батоврин был пацифист-хиппи с мозгом Макиавелли, и это сочетание позволило ему нанести власти ощутимый удар.

Советская власть, хотя и подписала Хельсинкскую декларацию прав человека в 1975 году, серьезно к ней не относилась и все обвинения в нарушении прав человека воспринимала привычно и легко, объявляя их клеветой и вмешательством во внутренние дела страны. Никакие возмущенные заявления иностранных деятелей и даже санкции на советскую власть не действовали, оттого что она, отчасти справедливо, полагала, что иностранные государства не пойдут на серьезный конфликт из-за посаженных диссидентов. Международной аудиторией советской власти были не западные политики, а западная интеллигенция и пацифистские движения, боявшиеся ядерной войны и потому поддерживавшие советские инициативы по разоружению.

Политические и общественные права граждан были не важны, важны были ракеты. “Сколько у папы Римского дивизий?” – интересовались вслед за товарищем Сталиным советские руководители. Обвинения в нарушении прав человека были неопасны в отличие от передела в ядерных вооружениях. Кроме того, шла война в Афганистане, и СССР хотел сохранить среди западной общественности образ борца за мир. Вот на этот образ, на государственную монополию советской власти и лично дорогого Леонида Ильича как основного миролюбца земного шара и посягнул Сережа Батоврин.

В начале июня (или в конце мая?) Сережа – с соблюдением правил конспирации – созвал у себя дома пресс-конференцию иностранных корреспондентов, на которой Группа Доверия огласила свое обращение.

Вот оно:

ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВАМ

И ОБЩЕСТВЕННОСТИ СССР И США

СССР и США обладают средствами убивать в масштабах, способных подвести итоговую черту под историей человеческого общества.

Равновесие страха не может надежно гарантировать безопасность в мире. Только доверие между народами может создать твердую уверенность в будущем.

Сегодня, когда элементарное доверие между двумя странами полностью утрачено, проблема доверия перестала быть просто вопросом двусторонних отношений. Это вопрос – будет ли человечество раздавлено собственными разрушительными возможностями или выживет.

Эта проблема требует сегодня немедленных действий. Однако совершенно очевидна неспособность политиков обеих сторон в ближайшее

время договориться о каком-либо заметном ограничении вооружений и тем более о существенном разоружении.

Соблюдение политиками объективности в вопросах разоружения затруднено их политическими интересами и обязательствами.

Сознавая это, мы не хотим обвинять ту или иную сторону в нежелании содействовать мирному процессу и тем более в каких-либо агрессивных планах на будущее. Мы убеждены в их искреннем стремлении к миру и предотвращению ядерной угрозы. Однако поиск путей разоружения несколько затруднен.

Все мы разделяем равную ответственность перед будущим. Энергичное движение за мир общественности многих стран доказывает, что миллионы людей это понимают.

Но наша общая воля к миру не должна быть слепой. Она должна быть осознана и выражена конкретно, с учетом всех требований, предъявляемых реальной действительностью.

Мир озабочен своим будущим. Все понимают, что для предотвращения угрозы нужен диалог.

Сложившиеся принципы ведения двустороннего диалога требуют немедленного изменения. Мы убеждены в том, что пришло время для мировой общественности не только ставить вопросы о разоружении перед теми, кто принимает решения, но и решать их вместе с политиками.

Мы выступаем за четырехсторонний диалог – за то, чтобы в диалог политиков равномерно включились советская и американская общественность.

Мы выступаем за последовательное и в конечном счете полное уничтожение запасов ядерного оружия и других средств массового истребления, за ограничение вооружений общего типа.

Мы видим ближайшую программу общего поиска в следующем:

1. В качестве первого шага к устранению ядерной угрозы мы призываем всех, кто не желает смерти ближнему, вносить частные конкретизированные предложения по двустороннему ограничению и сокращению вооружений и в первую очередь по установлению доверия. Мы призываем направлять каждое предложение правительствам обеих стран и представителям независимых общественных групп, борющихся за мир, одновременно.

Мы надеемся на внимание к нашему призыву особенно со стороны советского и американского народов, правительства которых несут ответственность за безопасность в мире.

2. Мы призываем общественность обеих стран создавать смешанные международные общественные группы, основанные на принципах независимости, в функции которых входили бы прием и анализ частных предложений по разоружению и установлению доверия между странами, отбор наиболее интересных и реалистических предложений, информирование о них населения и рекомендация их для рассмотрения правительством обеих стран, а также информирование населения о возможных последствиях применения ядерного оружия и по всем вопросам, касающимся разоружения.

3. Мы обращаемся к научной общественности, в частности к независимым международным организациям ученых, борющихся за мир, с призывом к работе над научными проблемами, непосредственно связанными с сохранением мира. Например, на данном этапе чрезвычайно

важно разработать единый математический метод оценки вооружений противостоящих сторон. Мы призываем ученых создавать независимые исследовательские группы с целью научного анализа предложений, поступающих от общественности.

4. Мы обращаемся к политическим деятелям и представителям печати обеих стран с призывом воздержаться от взаимных обвинений в намерении использовать в агрессивных целях ядерное оружие. Мы убеждены в том, что такие обвинения лишь разжигают недоверие между сторонами и тем самым делают невозможным какой-либо конструктивный диалог.

5. Необходимые гарантии установления доверия мы видим в том, что СССР и США должны обеспечить условия для открытого обмена мнениями и для информирования общественности обеих стран по всем вопросам, касающимся процесса разоружения.

Мы призываем правительства СССР и США создать специальный международный бюллетень (с правительственными гарантиями распространения в обеих странах), в котором обе стороны вели бы диалог, вступали в дискуссии, открыто освещали среди других вопросов следующие:

- а) анализ переговоров о разоружении и материалы переговоров;
- б) обмен мнениями и предложениями о возможных путях ограничения вооружений и разоружении;
- в) обмен предложениями по установлению доверия;
- г) обмен информацией о возможных последствиях применения ядерного оружия.

Такой бюллетень должен предоставить возможность независимым общественным движениям за мир вступать в общую дискуссию, публикуя неподцензурные материалы, в частности, предложения по разоружению и доверию и информацию о мирных движениях и проводимых ими мероприятиях.

Мы обращаемся к правительствам и общественности СССР и США, т. к. убеждены в том, что каждый, кто понимает, что будущее нуждается в защите, должен иметь реальную возможность его защищать!

Казалось бы, никакой крамолы. Но советская власть прекрасно понимала, что ей предлагают – мало того, от нее требуют – поделиться монополией на мирные инициативы. Что от нее требуют расширения контактов между обеспокоенной общественностью обеих стран (читай “свободы передвижения и обмена неподконтрольными мнениями”) и открытости оценок ядерного вооружения.

И кто требует? Из числа подписавших Обращение отказниками не были только мои друзья физики, поскольку вследствие имевшейся у них секретности даже не могли подать документы на выезд, и я сам. Все остальные, подписавшие Обращение, были отказниками с многолетним стажем.

Почему я подписал Обращение? Я не был пацифистом, я не верил в угрозу ядерной войны, но не потому что досконально изучил предмет и думал, что это невозможно, а потому что интересовался только правами человека и ничем больше. Ядерная угроза, о которой советским людям говорили с детства и которую, как нам объясняли, несли в себе “агрессивные действия американского империализма”, представлялась мне очередной ложью советской идеологической машины, очередной советской страшилкой. Тем не менее я подписал Обращение, суть которого была для меня чужой, как и сама идея пацифизма, идея непротivления злу насильем.

Злу я собирался противиться как раз насилем. Подставлять вторую щеку я не собирался. Я и первую не собирался подставлять.

Сереза дал мне текст Обращения – посмотреть до пресс-конференции, и я принес этот текст своему другу и соратнику по борьбе со злыми большевиками Серезе Л. Он и его жена Оля были по-настоящему религиозными и принципиальными людьми. Прочитав Обращение, оба отказались его подписать.

– Я не собираюсь никого призывать доверять этому режиму, – объяснил Сереза Л. – Я сам им не верю и не хочу, чтобы им верил Запад. Они обманут, как обманывали всегда. Ты же знаешь: не верь, не бойся, не проси.

Я знал: это была тюремная поговорка, принцип общения с властью, процитированный Александром Исаевичем в “Архипелаге”, принцип, по которому жили Сереза Л. и Оля. Жил по нему и я, но Обращение все же подписал.

Возможно, я был единственным из подписавших, кто не верил в суть Обращения. Все остальные вполне могли быть пацифистами, знавшими об угрозе ядерной войны куда больше, чем я, и обеспокоенными ее вероятностью. Власть, однако, не поверила в искренность членов Группы Доверия и начала репрессии практически сразу после пропущенной ею пресс-конференции.

Батоврина посадили под домашний арест. У него в подъезде дежурили гэбэшники – двое внизу, двое на лестничной клетке. Когда я вместе с еще одним членом Группы Марком Рейтманом пришел к нему через день после пресс-конференции, нас задержали и доставили в местное отделение милиции. Нас ни о чем не спрашивали, а просто продержали в отделении часа три, а потом отпустили, о чем в тот же день сообщили “вражеские” голоса. Милиционеры, кстати, отнеслись к нам сочувственно, поскольку в это время в СССР шла почти открытая война между МВД и КГБ, между министром внутренних дел Щёлоковым и председателем КГБ Андроповым. Окончание этой войны я впоследствии наблюдал воочию в Лефортовской тюрьме.

Сейчас, по прошествии многих десятилетий, я понимаю, что самым сильным фактором, способствовавшим моему участию в Группе, было тщеславие. Группа предоставила мне совершенно иной уровень признания моей оппозиционности: пресс-конференции, иностранные корреспонденты, упоминание моего имени в трансляциях “Голоса Америки” и Би-би-си и лестное внимание со стороны КГБ, до этого, как я выяснил во время следствия, знавшего о моих диссидентских усилиях, но не обращавшего на них особого внимания ввиду их малой эффективности. Теперь же я не просто распространял запрещенную литературу среди мало интересовавшихся этой литературой мальчиков и девочек из 127-й школы (не)рабочей молодежи – теперь я стал настоящим борцом сопротивления, и, самое главное, об этом узнали множество людей. Членство в Группе подтвердило мой статус *настоящего* диссидента, и я в своем представлении стал равен героям литературы, которую распространял.

Так увлеченно я писал роман о собственной героической жизни, причем не на бумаге, а в этой самой жизни. Никаких других стимулов и причин участия в Группе Доверия у меня, надо признаться, не было.

Мы продолжали устраивать пресс-конференции, выступать с новыми вполне полезными и квалифицированными инициативами в области разоружения и установления доверия между двумя сверхдержавами. Я был самым младшим и самым малознакомым с предметом членом Группы и, кроме общего шума и героического пафоса, никакого особого вклада в ее деятельность не внес.

Среди членов Группы было множество серьезных ученых, хорошо знавших тему разоружения и предлагавших дельные вещи. Кабы власть была умной, она бы последовала принципу Владимира Ильича: “Если врага нельзя победить, с ним нужно подружиться”. Власть могла бы скомпрометировать и разоружить Группу, признав ее полезность и включив ее членов, скажем,

в какую-нибудь очередную инициативу Советского комитета защиты мира, утопив Группу в бюрократических проволочках и официальном болоте борьбы за мир.

Власть, однако, умной не была, и расчет Сережи Батоврина оказался абсолютно верным: членов Группы, выступавшей за мир и против ядерной войны, начали репрессировать, что, естественно, показало западной общественности истинное лицо миролюбивого советского режима.

Меня задержали в конце июня 1982 года после встречи с очередным иностранным корреспондентом на Белорусской площади. Я передал ему уже не помню какие материалы о нашей борьбе за мир во всем мире и пошел прочь в сторону Тишинки. На полпути я заметил слежку не особенно прячущихся оперативников и, подстегнутый адреналином и собственной значимостью, попытался от нее оторваться.

Сделал я это со свойственной мне неопытностью: зашел в первый попавшийся подъезд, собираясь пролезть на чердак дома и по нему пройти до следующего люка, там вылезти, посидеть немного на лестнице в другом подъезде, пока растерянные гэбэшники будут меня искать, проверяя квартиры в первом подъезде, а затем, посрамив врагов, спокойно выйти на улицу и удалиться в известном лишь мне направлении.

Люк на чердак оказался закрыт на большой висячий замок. А я оказался в западне. Вошедший через какое-то время за мною в подъезд гэбэшник лениво прошел мимо одиноко сидевшего на подоконнике лестничного пролета мастера конспирации и остановился этажом выше. Особенно не скрываясь, он сообщил по рации коллегам, ждущим во дворе, что я в подъезде.

Ситуация была унижительной, и, подождав минут двадцать, я вышел на улицу. Здесь меня и “взяли”, заломив руки, и посадили в стоявшую наготове машину.

Меня отвезли сначала в квартиру родителей одной милой и ничего не подозревавшей девушки, с которой мы в ту пору часто в этой квартире ночевали, пока ее родители проводили летнее время на даче. Как назло, именно в этот вечер родители были дома, а девушка как раз на даче, куда я и собирался после встречи с корреспондентом. Кэгэбэшники, объяснив родителям, что я мог прятать в их квартире материалы антисоветского содержания, начали обыск, я же гордо сидел на стуле в кухне, отказываясь говорить, пока мне не предъявят ордер на обыск. Один из оперативников устало объяснил, что ордер на обыск мне предъявлять не обязаны, поскольку проводят обыск не у меня, а у других людей. Люди же эти, несмотря на мои советы потребовать такой ордер, ничего не требовали, а испуганно молчали, иногда робко предлагая гэбэшникам чай. Я же молчал вполне героически, периодически сообщая гэбэшникам, что подам на них в суд за нарушение закона.

Оперативники были молодыми ребятами, кроме одного: лысого пожилого дядьки в зеленой рубашке на выпуск по летнему времени, похожего по типу на бюрократа-крючкотвора из советских фильмов 30-х годов. Он не участвовал в обыске, сперва прохаживался по квартире, наблюдая за действиями оперативников и иногда отдавая негромкие указания, а затем удалился на кухню, где легко и умело втянул в беседу ошеломленных происходящим хозяев квартиры. Он явно был начальством, и командовавший группой (и представивший мне при задержании) капитан периодически к нему подходил и что-то сообщал на ухо. Дядька благоклонно кивал и отирал лицо большим носовым платком.

Он единственный откликнулся на предложение чая и с удовольствием пил его, сидя на табурете в кухне, обсуждая с перепуганными родителями моей подруги нежданно жаркое лето, перспективу грибной осени и прочие радости дачной жизни.

Когда я в очередной раз потребовал от гэбэшников предъявить ордер на обыск, лысый, шумно прихлебнув чая, укоризненно сказал:

– Да хватит уже, Олег. Не устали еще от ерунды этой? А я ведь дедушку вашего знал. Удивительный был человек: энциклопедия. Теперь таких уже нет.

Я опешил: он знал моего дедушку? Как? Откуда? И которого из двух?

Лысый, впрочем, не стал томить меня неизвестностью. Он втянул толстыми губами смородиновое варенье, гостеприимно предложенное трясшимися от страха хозяевами квартиры, облизал ложку и продолжил:

– Да уж, Станислав Адольфович... Сегодняшним-то за ним тянуться и тянуться. Сколько знал всего человек.

Дед-кадет

Дед мой, отец отца, родился в Одессе в 70-х годах XIX века, куда ранее эмигрировал из Лодзи его отец Абрам Радзинский. Семья Радзинских – промышленники, владевшие в Лодзи и окрестностях текстильными фабриками, – происходила из маленького польского городка Радзина Подлясского, отсюда и фамилия.

Радзинские, собственно, это даже и не фамилия, а прилагательное: радзинские хасиды. Хасиды, проживавшие в Радзине Подляском, отличались от других хасидов тем, что красили одну из восьми нитей в каждой кисти таллескотна – поддевке с кистями, надевавшейся правверными иудеями-мужчинами, – специальной синей краской. Эту краску – тхейлет, секрет изготовления которой был утрачен более двух тысяч лет назад, – приготавливают из особого моллюска хилозона, и секрет этот заново открыл лишь в середине XIX века раби Гершон-Ханох из Радзина. Раби Гершон-Ханох приказал всем проживающим в Радзине Подляском хасидам красить одну нитку каждой кисти таллескотна в небесно-голубой цвет, и те послушно приняли за дело. Никакого особого смысла это, как и многие другие религиозные установления разных конфессий, не имело, но соблюдалось радзино-подляскими хасидами строго и считалось – как все бессмысленно-ритуальное – крайне важным. А как еще: тем они отличались от других польских хасидов – нерадзинских.

Семья Абрама – впоследствии для благозвучия переименовавшего себя в Адольфа (эх, знал бы он!) – красить нити в маленьком провинциальном городке не собиралась, но сохранила, видать, навык, что помогло им по переезде в Лодзь открыть красильню тканей для обосновавшихся в городе текстильных фабрик. Со временем Радзинские начали скупать задолжавшие им за покраску фабрики и вскоре твердо заняли ведущее место в лодзенском текстильном мире. Они производили ткани и продавали их по всей Европе, хотя основным рынком была, конечно, родная Российская империя.

Жить бы и жить Абраму Радзинскому в милом комфортабельном польском городе, наслаждаясь семейным положением текстильного магната. Ан нет: Абрам был неспокоен душой и стремился вдале. Семья, учуяв его беспокойство, послала Абрама для установления торговых связей в Одессу. Тот связи установил, но решил в Лодзь не возвращаться. Он обосновался в шумном интернациональном портовом городе – черноморском Марселе, быстро потратил в местных французских ресторанах имевшиеся у него деньги, после чего обнаружил, что а) денег больше нет и б) он ничего не умеет. А что делает нормальный ничего не умеющий молодой польский хасид, оставшийся без денег в чужом месте? Правильно: он открывает банк.

Абрам-Адольф финансировал производство, закупку и транспорт зерна, что на хлебобобной Украине было делом хлебным. Он быстро пошел в гору, купил дом, завел прислугу, затем купил еще пару доходных домов в центре города и вел жизнь рассеянно-светскую, мило коверкая русские слова польским акцентом. Будучи человеком абсолютно нерелигиозным, он водил компанию как с местными еврейскими воротилами, так и с бессарабскими помещиками, кому он ссуживал деньги до продажи урожая. В доме одного из бессарабских евреев, торговавших зерном, Абрам-Адольф встретил его дочь – Фелицию. Она была черноглаза, тонка станом и младше его лет на двадцать.

Отец Фелиции особо не сопротивлялся вспыхнувшей любви, чему, думаю, сопутствовал тот факт, что он задолжал абрамовскому банку кучу денег. А может, просто желал счастья дочери.

Вскоре у Радзинских родился сын, названный на польский манер Станислав. Это и был мой дед.

Дед рос избалованным единственным ребенком, окруженным вниманием и богатством. У него был гувернер-француз – сбежавший с французского корабля матрос, оттого дед вырос,

говоря на трех языках: польском, французском и русском. Абрам-Адольф никогда не говорил с сыном на идиш, и еврейство, а уж тем более хасидизм, в доме не упоминались. Мать Фелиция тоже не была религиозна, и оттого дед мой рос “безродным космополитом”, богатым одесским плейбоем, мечтавшим о Париже и Варшаве.

Он учился в знаменитом Ришельевском лицее, втором – после Царскосельского – питомнике российской элиты, куда его отдали по совету друга семьи и знаменитого доктора, почетного лейб-медика высочайшего двора Российской империи Иосифа Бертенсона, который и сам оканчивал Ришельевский лицей. Сын доктора – Моисей (Мусик) Бертенсон – учился там же вместе с моим дедом и был его другом на протяжении всей жизни.

Вместе с Мусиком дед, будучи человеком интеллигентным, что в России всегда означало “оппозиционно настроенным”, вступил перед Первой мировой в Конституционно-демократическую партию и с упоением принялся за кадетскую журналистскую деятельность вместо того, чтобы трудиться по полученной им в Варшавском университете профессии юриста.

Через три года, впрочем, грянула Февральская революция, и дед Станислав, радуясь падению ненавистного ему самодержавия, решил баллотироваться в какой-то возникший революционный орган. Его политическая жизнь закончилась, однако, крайне скоро: с залпом “Авроры” в далекой столице. Дед вздохнул и вскоре уехал в Москву, чтобы затеряться в большом городе и его шумной жизни. Он пошел работать в только что созданную газету “Гудок”, где трудились его друзья – Ильф и Петров, Катаев и Олеша, Паустовский и Багрицкий.

Славное было время, да кончилось быстро: в середине 20-х деду припомнили кадетское прошлое, и он понял, что нужно сидеть тихо, не лезть в журналистику, и принялся за переводческую работу, перелагая на русский французских и польских авторов. Так он и жил – переводами и инсценировками, не высываясь и сторонясь власти.

А друг Мусик Бертенсон не успел вовремя спрятаться и скоро поехал в Северлаг, куда дед каждый месяц отсылал ему посылки под вымышленными фамилиями. Переводческой деятельностью дед также занимался под вымышленным именем – Уэйтинг, то бишь русской калькой английского слова *waiting* – “ожидающий”. Вся его жизнь и прошла в ожидании: когда же в России наступит любимая им конституционная демократия. Так он до нее и не дожил. Может, и к лучшему.

Власть периодически припоминала деду его славное кадетское прошлое, и тогда он исчезал из Москвы, удаляясь в длительные творческие командировки. Последний раз им заинтересовались в начале 50-х, когда по стране прокатились процессы по “делу еврейских космополитов”. Дед – человек опытный – уехал в Ереван, где и прожил до смерти Сталина. Когда он вернулся, его пару раз допросили для порядка, но ГБ было не до старого кадета: рушился их мир. К тому периоду, думаю, и относится знакомство пожилого лысого гэбэшника с моим дедом-кадетом.

Подследственный Радзинский

Оперативники, проводившие обыск, споро и умело осматривали книжные полки и ворошили ящики с постельным бельем. Ничего не обнаружив, они извинились перед родителями девушки, погрузили меня уже в другую ждавшую во дворе машину и поехали ко мне домой – в родное Дегунино.

Я тихо торжествовал, поскольку в ожидании обыска убрал из нашей квартиры все материалы Группы, да и любую запрещенную литературу к одному из своих друзей. Моя бедная мама, только приехавшая с гастролей Театра миниатюр, в котором работала заведующей литературной частью, не особенно удивилась появлению в нашем доме КГБ. Ей предъявили ордер на обыск, который мне почему-то предъявить отказались. Скорее всего, КГБ предпочитал иметь дело со взрослыми и ответственными людьми.

Обыск закончился к трем часам ночи. Ничего, кроме запрятанных родителями самиздатовских копий и пары изданий парижского журнала “Континент”, они не нашли. Мне вручили повестку в следственный отдел КГБ СССР, за которую я, как и водится, отказался расписаться, сообщив гэбэшникам, что утром же подам на них в суд за незаконные действия по моему задержанию, поскольку они не показали мне ордер на арест. Они вздохнули и – время было позднее – удалились, оставив повестку у зеркала в прихожей.

На следующий день, когда я, предварительно обзвонив всех знакомых и сообщив им о перенесенных тяготах жизни борца с режимом, вышел из дома, то обнаружил стоявшую у нас во дворе машину с тремя оперативниками. Один – с добрым круглым лицом – вежливо поинтересовался, собираюсь ли я ехать на допрос в КГБ. Не удостоив его ответом, я двинулся дальше, но тут же был посажен в машину и доставлен в следственный отдел КГБ СССР – Энергетический переулочек, дом 3. Этот адрес я впоследствии хорошо выучил, поскольку там находился и продолжает находиться следственный изолятор КГБ – знаменитая Лефортовская тюрьма, Лефортовка, – в которой я затем провел долгое время. Об этом потом.

Двое оперативников отконвоировали меня в приемную следственного отдела, где пошептались с дежурным, который тут же куда-то позвонил. Я молча сидел, осматривая других посетителей, не понимая, почему они пришли сюда по доброй воле.

Минут через десять в приемную вышел молодой светловолосый мужчина лет тридцати с небольшим в сером, ладно сидящем на его спортивной фигуре костюме, который, взглянув на меня мельком, словно проверяя, правильного ли привезли человека, забрал у дежурного какую-то бумагу.

Затем похожий на молодого Роберта Редфорда светловолосый подошел ко мне и представился:

– Круглов. Вот ваша повестка, Олег Эдвардович.

Он протянул мне точно такую же, как оставшаяся у зеркала в прихожей, повестку. Я ее не взял и не удостоил его ответом. Круглов, ничуть не расстроившись, кивнул оперативникам и вместе с непонятно откуда материализовавшимся в приемной конвоиром в форме КГБ повел меня внутрь Лефортовки.

Я торжествовал, внимательно осматривая окрестности и готовясь дать достойный отпор кровавым гэбэшникам. Окрестности следственного отдела, впрочем, меня разочаровали – обычные лестница и коридоры с закрытыми дверями кабинетов без фамилий их владельцев.

Кабинет Круглова оказался на третьем этаже.

Меня усадили за маленький прямоугольный стол у двери, Круглов расписался на какой-то бумажке, и конвоир удалился.

– Чай будете? – предложил Круглов.

Я молчал, продумывая стратегию допроса. Я не собирался отвечать ни на какие вопросы, но мне было интересно, что они знают обо мне и о Группе.

– Позвольте еще раз представиться, Олег Эдвардович, – сказал не обескураженный моей неприветливостью Круглов. – Меня зовут Сергей Борисович Круглов, я старший следователь следственного отдела КГБ СССР. Предупреждаю вас об ответственности за дачу ложных показаний.

Показаний – ни ложных, ни правдивых – я давать не собирался и оттого не ответил.

Круглов подошел к моему столику и положил передо мной какую-то официальную бумагу.

Я посмотрел: это было официальное предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний в ходе допроса.

– Подпишите, пожалуйста, – попросил Круглов.

– Ничего подписывать я не буду.

Круглов сел за свой стол и, позвонив кому-то по телефону, попросил зайти. Пришедший – еще моложе – подписал как свидетель, что я в его присутствии отказался от подписания предупреждения об ответственности за дачу ложных показаний, с которым следствие меня ознакомило, и удалился.

– Назовите ваши фамилию, имя, отчество, – попросил Круглов.

– А вы не знаете?

– Знаю, – признался Круглов. – Но так положено.

Надо сказать, что в приемной у меня изъяли паспорт, который я – как и все диссиденты, ожидающие задержания в любой момент, – всегда носил с собой. Теперь он лежал на столе перед Кругловым.

– В паспорт посмотрите, – посоветовал я, гордый своей иронией.

– Олег Эдвардович, – положив ручку на стол, сказал Круглов. – Нам с вами предстоит долгое общение, поэтому я хотел бы установить параметры отношений. Я задаю вам вопросы, вы на них отвечаете. Или не отвечаете. Какие-то вопросы будут относиться к сути дела, какие-то я обязан задать для проформы. Это – вопрос для проформы, так что вы на него можете ответить без всякого ущерба для своего достоинства.

– А в чем суть следствия? – поинтересовался я и тут же, испугавшись, что меня сейчас втянут в беседу, добавил: – Никаких показаний я давать не собираюсь.

– Следствие проходит по уголовному делу, открытому следственным отделом КГБ СССР по статье 70-й, – сообщил Круглов. – Вы вызваны следствием в качестве свидетеля.

Тут я заликовал: вызван в КГБ, настоящий КГБ, а не в какой-то придурочный военкомат к малограмотному, плохо формулирующему фразы гэбэшнику, да еще и по 70-й! Вот он, момент славы. Свершилось, и я в присных.

– Никаких показаний в отношении следствия против других людей я давать не собираюсь, – твердо пояснил я Круглову.

– А в отношении других людей я вам никаких вопросов и не собираюсь задавать, Олег Эдвардович, – миролюбиво уточнил Круглов.

– То есть как? – не понял я. – Вы проводите следствие по 70-й против кого-то, а меня вызвали как свидетеля. Значит, собираетесь задавать вопросы о деятельности обвиняемых по этому делу. А мои моральные принципы не позволяют мне отвечать на вопросы, касающиеся деятельности других.

“Моральные принципы” были неубиенным диссидентским аргументом, что знал каждый, читавший правозащитную литературу.

– Тогда, Олег Эдвардович, никаких проблем у нас с вами не будет, – по-редфордовски обаятельно улыбнувшись, заверил меня Круглов. – Поскольку дело открыто против вас. Так что мои вопросы будут касаться именно вашей деятельности.

Такого поворота я не ожидал. По 70-й против меня? Я тут же необычайно возгордился собой и представил, как сообщаю об этом иностранным журналистам и с каким уважением начнут теперь ко мне относиться соратники по борьбе.

– Как же я могу проходить свидетелем по делу, открытому против меня? – Я решил уточнить, правильно ли понял Круглова.

– Пока свидетелем, – пояснил Круглов. – Возможно, мы с вами сейчас все выясним, и вы свидетелем и останетесь. Если начнете отвечать на вопросы.

– Тогда я тем более отказываюсь отвечать, – гордо отрезал я. – Не собираюсь давать никаких показаний против себя самого.

Круглов помучился со мною еще минут двадцать, пока я молчал, глядя мимо него в окно, затем предложил подписать протокол допроса, в котором было правдиво написано, что я отказался отвечать на предложенные следствием вопросы. Я отрицательно покачал головой: подписывать ничего не буду.

– Олег Эдвардович, – предложил неунывающий Круглов, – давайте сделаем так: идите домой, подумайте, посоветуйтесь с родителями, а я вам пришлю повестку, и мы поговорим еще раз. Хорошо?

Ничего хорошего я в этом не видел, но обрадовался, что меня отпустят домой. Я уже представил пресс-конференцию, посвященную лично мне. И как небрежно, как героически я буду рассказывать восхищенным иностранным журналистам о давлении КГБ и моем стоическом сопротивлении. Вот такой я был тщеславный и глупый юноша. Даже обидно в этом признаваться.

Круглов вызвал конвоира и вместе с ним доставил меня в приемную, где передал дежурному паспорт, а тот, сделав отметку в журнале, передал его мне. Не знаю, почему Круглов не отдал паспорт мне напрямую; вероятно, было не положено.

В приемной меня ждали уже знакомые оперативники. Они любезно предложили подвезти меня домой – “Нам же по пути”. Я не удостоил их ответом, и один из них отправился за мной в метро, другие же погрузились в ожидавшую их машину.

Так началась моя четырехмесячная жизнь под наружкой – гласным наружным наблюдением, продолжавшимся до ареста.

Жизнь диссидента, рассказанная им самим

Почему, отчего КГБ отнесся ко мне так серьезно? Они не только открыли против меня дело по статье, подходящей под “особый раздел” Уголовного кодекса, и поручили его вести следственной группе из четырех человек, оторвав их, должно быть, от больших государственных задач, но также установили за мной гласное наружное наблюдение из трех сменявших друг друга групп. Эти люди дежурили в машине “Жигули” перед моим подъездом, проводя дни за играми в карты (если я сидел дома), а ночи – за распиванием спиртного. Поскольку они наблюдали за мной, а я за ними, я быстро установил, что они пользовались туалетом в находящейся в нашем дворе районной поликлинике. У них были настоящие рации, посредством которых они держали контакт, когда один или двое сопровождали меня в передвижениях по городу общественным транспортом, а другие следовали вёрхом – в машине.

Этим людям платили зарплаты, на бензин тратились деньги советских трудящихся, наблюдение было круглосуточным. И зачем? Я был совершенно не опасен, не представлял никакой угрозы – к чему все эти расходы и затраты человеко-часов? Редкие – даже по высоким советским меркам – безалаберность и бесхозяйственность. И это в 1982-м, когда страна, обесиленная бессмысленной трехлетней войной в Афганистане, подорванная безнадежной гонкой вооружений с Соединенными Штатами, начала испытывать настоящий продовольственный голод. Когда, напрягаясь из последних сил, родная держава посылала своих сыновей если не погибать за свободу дружественного афганского народа, так загибаться на строящейся более пятидесяти лет Байкало-Амурской магистрали? Стране было куда тратить, как любили говорить с ударением на последний слог малограмотные люди – средства, кроме как на бесполезную слежку за никому не нужным мной.

Представьте: выхожу я из дома, и тут же из запаркованной во дворе машины вылезает сотрудник 7-го управления КГБ (наружное наблюдение) и подчас радостно, подчас недовольно здороваются и вопрошают: “Куда идем, Олег?” – и затем, не получив ответа, двигается за мною. А за нами, нарушая правила уличного движения, едет машина с его коллегами.

Я, нужно признаться, упивался собственной значимостью: ни у кого из знакомых мне диссидентов такого не было. Их задерживали, сажали под домашний арест, отправляли в психбольницы, наконец, сажали, но никому из них, как мне казалось, советская власть не оказывала столь лестного внимания. Я воспринимал это как признание своей важности, как выданную мне награду и высокое государственное доверие.

Под таким пристальным наблюдением я находился четыре месяца – до ареста в конце октября. Какие-то оперативники менялись, какие-то оставались, и в конце концов у нас установились невысказанные, но принятые обеими сторонами правила общения:

- я с ними не здороваюсь и делаю вид, что их не существует;
- они со мной здороваются, но не пытаются вступить в беседу;
- если я встречаюсь с известными КГБ диссидентами, то можно ожидать, что скоро появится милиционер в форме, который потребует у всех присутствующих документы, после чего моих друзей заберут в ближайшее отделение, где продержат несколько часов, а потом отпустят, а “мой” оперативники посадят меня в машину и отвезут домой;
- любые контакты с иностранцами окончатся так же;
- я не пытаюсь от них убежать, а они не вмешиваются в мою “неполитическую” жизнь.

За четыре месяца общения я узнал их индивидуальные склонности и наделил определенными, казавшимися мне уместными именами. Один из них – постарше, лысый – стал для меня Майором. Отчего Майором? Не знаю, просто звал его Майором и все.

Майор выглядел всегда устало и озабоченно. Он не занимался поездками в общественном транспорте, поручая это более молодым и менее усталым и озабоченным коллегам. Майор

оставался в машине, и именно он принимал решения, на какие мои встречи смотреть сквозь пальцы, а какие прервать и доставить меня домой. Майор ездил в машине на переднем пассажирском сиденье, здоровался со мной кивком и много обеспокоенно курил.

Другой оперативник, продержавшийся в “моей” группе с начала до конца, был молодой здоровый парень с круглым милым лицом и пышными пшеничного цвета волосами. Я окрестил его Тракторист, потому что по типуажу он прекрасно подходил на роль тракториста в советском фильме про счастливую колхозную жизнь. Тракторист, собственно, и задержал меня 23 октября 1982 года, доставив в следственный отдел КГБ СССР, откуда меня уже не отпустили. Сделал он это совершенно беззлобно, без всякого пафоса, но и без особого сожаления. Пока же у нас с ним установились ровные отношения: он всегда громко со мною здоровался, не унывая от моего холодного “героического” молчания, старался встать поближе в переполненных дегунинских автобусах и вообще проявлял заботу.

Помню, ко мне в гости приехали физики и товарищи по пацифистскому движению Витя Блок и Боря Калужный. Они жили в Долгопрудном – под Москвой, где в ту пору стоял настоящий продуктовый голод. Власть наговорившись о планах борьбы с режимом (соблюдая конспирацию, все главное мы писали на бумаге), Витя и Боря, оба значительно старше меня, жены и отцы детей разного возраста, поинтересовались, продается ли в нашем продуктовом магазине сливочное масло. Я – по причине бессемейности и занятости важными (анти)общественными делами – не знал и предложил пойти посмотреть.

Мы вышли из подъезда и направились в сторону магазина, и тут же к нам присоединился Тракторист.

Думаю, первоначально оперá собирались, как обычно, вызвать милицию и задержать физиков, но, увидев, что мы идем в магазин, решили, что, скорее всего, наш поход не несет в себе опасности для государственного строя СССР. В магазине Тракторист держался совсем близко, внимательно следя, не собираемся ли мы с кем-то конспиративно встретиться, но поскольку никого, кроме усталых и озлобленных очередями советских патриотов, там не было, он быстро успокоился. Мы встали в длиннющую очередь за сливочным маслом, предварительно выяснив, что дают две пачки в руки. Я должен был, как и мои друзья, приобрести две пачки и отдать одну Вите, а другую Боре.

Тракторист, убедившись в незлокозненности наших намерений и по-человечески поняв нужду физиков в животных жирах, где-то в середине очереди протерся сквозь наседающую и жаждущую сливочного рая толпу и предложил свои услуги:

– Олег, давай сейчас наши ребята подойдут, и мы каждый возьмем вам еще по две пачки. Можем и без очереди.

Мы, понятное дело, отказались гордым замечанием его существования, хотя по лицам моих друзей было видно, каких трудов им это стоило. Принципы, однако, были важнее. А могли бы и лишнего масла хапануть.

Был еще один оперативник, которого я прозвал Фашист. Больше всего Фашист походил на рекламу “настоящего арийца”: он еле умещался в маленьких “Жигулях” ввиду своего двухметрового роста, был необыкновенно широк в плечах и совершенно альбиносен. Фашист вел себя холодно и недружелюбно. Он, единственный из всех оперативников, никогда со мной не здоровался и вообще не удостоивал меня вниманием: я был объект наблюдения и не более.

С Фашистом связан забавный случай: как-то в конце сентября я возвращался домой в переполненном автобусе.

Тут нужно сделать отступление и сказать, что в связи с началом следствия меня уволили с работы в 127-й школе и не взяли в журнал “Вопросы литературы”, куда я собирался распределиться после окончания филфака. Также меня не приняли и в аспирантуру МГУ, хотя мой академический руководитель профессор Журавлев еще в мае сообщил мне, что вопрос о моей

кандидатуре практически решен. Он оказался прав: вопрос о моей кандидатуре был решен, да только в другом месте и другими людьми.

Я не пытался устроиться на работу, понимая, что подведу людей, если скрою от них факт подследственного положения, а если не скрою, работу точно не получу. Так что и стараться не стоило. Поэтому я перебивался репетиторством, и перебивался неплохо: у меня было четыре ученика, с каждым я занимался два часа в неделю – час русским языком, час литературой, получая пять рублей в час. Таким образом, я зарабатывал сорок рублей в неделю, или сто шестьдесят рублей в месяц. Это было много больше, чем мне платили по ставке преподавателя школы.

Так вот, возвращаясь я с урока в битком набитом 194-м автобусе под заботливым оком Фашиста, способного даже в такой толкучке организовать для своего большого тела свободное пространство. На моей остановке толпа выносит меня из автобуса, а за мною величаво и неспешно спускается Фашист, о которого, как о скалу, разбиваются спешащие люди. Я же, движимый инерцией, налетаю на желающего влезть в автобус и пахнущего принятым после работы дешевым спиртным здорового мужика в телогрейке.

Мужику такое мое поведение не понравилось, и он, забыв про автобус, схватил меня за грудки и, проявив глубокое знакомство с определенными пластами русской лексики, потребовал объяснения:

– Ты чо, блядь, слепой? Куда, на хуй, лезешь? Пиздюлей захотел?

Я знал, что не могу позволить себе драку. Поэтому оглянулся на застывшего неподалеку в нордическом спокойствии Фашиста и поинтересовался:

– Это провокация?

Фашист принял решение мгновенно. Он обернулся на машину со своими коллегами и, вероятно, получив телепатический приказ, шагнул вперед, легко оттеснив меня (и еще человек пять желающих погрузиться в автобус), сгреб огромными руками телогреечный ворот, поднял хмельного мужика в воздух и ощутимо больно стукнул его об афишную тумбу, после чего продолжал держать на весу. В это время из машины выскочил и, растолкав толпу, встал рядом с Фашистом еще один рослый оперативник.

Бедный мужик, быстро протрезвев, перебирая ногами сырой осенний московский воздух, помотал головой, оценивая обстановку, и вполне дружелюбно обратился ко мне:

– Борода, – сказал он, улыбаясь мне, как старому доброму приятелю, которого неожиданно встретил на улице, – Борода, я ж не знал, что ты с ребятами!

Так весело протекала моя жизнь под наружкой, освещенная пылающим над моей глупой головой нимбом “важного” борца с кровавым большевистским режимом, осветленная уважением друзей по этой самой борьбе и согретая страхом за меня родителей. Длиться вечно так не могло, я это понимал, но особенно об этом не думал. Об этом думали моя мама и оба папы.

Я никогда не ощущал родительской любви. Не потому, что родители меня не любили, не заботились обо мне, а просто потому, что они никогда о своей любви не говорили, и, главное, потому, что они всегда были заняты работой. Я рано выучил, что их работа намного важнее меня, и это казалось мне естественным порядком вещей. Мама и папа Тема пропадали целыми днями в “Останкино”, часто работая по воскресеньям (суббота всегда была рабочим днем), приходили они, когда я уже спал, а если у них и выдавалось редкое совместное свободное воскресенье, то проводилось оно не со мной, а с друзьями-телевизионщиками, и разговоры шли опять о работе, о глупом телевизионном начальстве, о новых книгах и новых спектаклях или об ужасной советской власти, не позволявшей эти книги писать, а спектакли ставить. Обо мне родители не говорили никогда, никогда не интересовались моими проблемами, вспоминая о своей родительской роли, лишь когда мои проблемы становились их проблемами – например, когда я в двенадцать лет сломал позвоночник или когда меня исключали из школы и нужно было срочно искать другую. С мамой мы разговаривали в основном о литературе, упиваясь

совместной любовью к Достоевскому, с папой Темой мы говорили о политике и играли в шахматы. А также подолгу рассматривали географические атласы, путешествуя в дальние земли, расположенные в картографической проекции Меркатора, и зная, что нам никогда туда не попасть живьем.

После обыска и первого допроса родители старались не говорить о будущем, словно их молчание могло его отменить.

Папа Эдик был занят собой и своим творчеством. Кроме того, я ему был неинтересен. Думаю, первый раз он по-настоящему мною заинтересовался именно тогда – когда КГБ возбудил против меня дело. Я стал ему интересен как новый сюжет.

Из всех трех родителей он оценил ситуацию наиболее реалистично:

– Тебя посадят, – сообщил он в первую же нашу встречу после того, как следователь Круглов проинформировал меня о моем статусе подследственного. – Если еще осталась возможность эмигрировать – уезжай. Попробуй поговорить с ними: скажи, что ты согласен тихо уехать, если они закроют дело и тебя выпустят. Только ничего не подписывай, они потом используют это против тебя.

Я, конечно, гордо отказался, сообщив ему, что ни в какие сделки с КГБ вступать не буду, как нам, героям, и положено.

Папа Эдик молча выслушал меня, ни разу не перебив (большая редкость!), и сказал:

– Тогда готовься. Они, – папа всегда обозначал власть или личным местоимением третьего лица во множественном числе, или указательным местоимением “эти”, думая, должно быть, что, отказывая ей в имени собственном, он делает ее менее настоящей, – они тебя посадят. Обязательно. И я ничего не смогу сделать.

Интересно, что, несмотря на уверенность в собственном бессилии в создавшейся ситуации, папа Эдик с первого дня моей посадки пытался на эту ситуацию повлиять: он записывался на приемы к разным гэбэшникам, курировавшим советскую культуру, и объяснял, что я а) глуп, молод и неразумен и б) сильно болен. Гэбэшники сочувственно выслушивали папины рассказы о моей язве желудка и сломанном в детстве позвоночнике, понимая кивали и в ответ жаловались на мой несговорчивый характер, на мой отказ сотрудничать со следствием и раскаяться в содеянном.

– Как же можно его отпустить, Эдвард Станиславович? – вопрошали гэбэшники, предварительно заверив отца, что по-человечески они его понимают. – Статья-то серьезная.

В общем-то они были правы.

Все это, однако, еще не случилось, а таилось в моем будущем, прячась за его многовариантностью. Хотя папа Эдик был прав: никаких многих вариантов у моего будущего уже не было. Знал он родную страну.

Я особенно по этому поводу не расстраивался: тюремное будущее виделось мне еще одной, пока не прочитанной (да и не написанной пока) книгой, которую суждено прочесть. Я жил настоящим, и оно мне нравилось.

И было отчего: почет и уважение со стороны власти, признание ею моих диссидентских заслуг, личные оперá, сопровождавшие меня повсюду. Как тут не радоваться? Были и другие причины.

Милая театральная девушка, у несчастных родителей которой проходил первый июньский обыск, по их настоянию порвала со мной отношения и исчезла из моей жизни. Я, признаться, не горевал, оттого что в моей жизни скоро появилась другая.

Любовь нечаянно нагрянет...

Мой друг Саша Лебедев предыдущей весной – перед тем, как удалиться в советскую армию, чтобы, думаю, окончательно подорвать ее боеспособность, – зашел ко мне на работу с двумя девочками. Девочки оканчивали десятый класс, и официальным предлогом нашей встречи стала Сашина искренняя озабоченность их будущим и особенно последующим поступлением в институт. Тот факт, что обе были удивительно – даже по высоким московским меркам начала 80-х – хороши собой, делал Сашину заботу еще более искренней.

Саша попросил меня рассказать девочкам о тяготах вступительных экзаменов по русскому языку и литературе, причем беседа эта непременно должна была состояться у него дома, где – вот ведь совпадение! – как раз в тот вечер не было родителей. Домашний уют, с Сашиной точки зрения, являлся важным элементом продуктивного общения.

Одна из них стала его женой, другая – моей.

Я, впрочем, о нашей первой встрече с Алёной скоро забыл, оттого что она не проявила ко мне (как и к поступлению в институт) никакого интереса, да и вообще я в то время жил с другой, намного взрослее и опытнее этой похожей на олененка красивой десятиклассницы. Скоро в мою жизнь вмешался Комитет государственной безопасности, и на какой-то момент стало не до девушек. Тут-то я снова встретил Алёну.

Я узнал ее не сразу: она стала еще красивее, еще ярче и выглядела еще моложе своих семнадцати лет.

Я шел по Пушкинской площади в сопровождении гэбэшников, московский август близился к концу, отдавая городу последнее летнее тепло, и – как обычно перед сменой сезонов – воздух был напоен предвкушением скорых перемен: спешащих москвичей и гостей столицы ждали новые школы, новые рабочие места и новые послелетние знакомства. Я – как и положено большим политическим деятелям – наверняка думал о чем-то важно-державном, но тем не менее заметил идущую навстречу красивую тоненькую девочку, неумело покачивавшуюся на высоких каблуках-шпильках. Мы встретились взглядами, прочли в глазах друг друга обещание будущего счастья... и я пошел дальше, понимая, что не могу сейчас никого пустить в свою жизнь.

Не тут-то было.

– Олег? – окликнула меня девушка. – Радзинский? Вы Олег Радзинский?

Я признался: это я. Не врать же.

Через много-много-много лет итальянский поэт и сценарист Тонино Гуэрра преподавал мне урок, как действовать в подобных обстоятельствах, когда не хочешь признаваться, что ты – это ты: мы писали с ним сценарий фильма “Парад-алле” у него в Пеннабилле и, истощенные творчеством и трудностью общения – Тонино не говорил по-русски, а я по-итальянски, и его бедная жена Лора переводила нам друг друга с пулеметной скоростью, – пошли гулять по городку.

Когда мы проходили главную площадь перед старой церковью, на ней остановился автобус с итальянскими туристами, шумно высыпавшими поглядеть на окрестные достопримечательности. Тонино заторопился, но одна туристка внимательно к нему присмотрелась и побежала к нам.

– Пиу велоче, пиу велоче, – заторопил меня Тонино, ускорив шаг.

– Синьоре! – закричала туристка. – Синьоре, вой – Тонино Гуэрра?

– Но! – закричал в ответ Тонино: – Ио соно суо фрательло! (Я – его брат!)

Я не сказался тогда своим братом, и мы с Алёной долго говорили – о прошедшем лете, об общих друзьях, о ее планах – под неусыпным, но довольным оком моих сопровождавших. Их эта ситуация радовала, поскольку, как люди опытные, они понимали: когда тебе двадцать с небольшим, никакая политическая борьба не может соперничать с красивой девушкой. Значит, на сегодня можно расслабиться.

Так мы говорили о всякой ненужной ерунде, а наши глаза в это время договаривались совсем о другом.

Я взял у Алёны ее номер телефона, пообещав позвонить через два дня – в пятницу, и мы попрощались. Я смотрел, как она уходит, покачиваясь на каблуках – черноглазая тростинка, и внутри у меня что-то словно оторвалось, словно уходило вместе с ней.

Алёна уже почти дошла до подземного перехода, когда я окликнул ее.

Она остановилась, подождала.

– Представляешь, – сказал я, взяв ее за руку, – у меня уже наступила пятница.

– У меня тоже, – призналась Алёна, и ее длинные черные пушистые ресницы качнулись, соглашаясь: да, уже пятница.

Наш вспыхнувший и охвативший, захвативший нас роман радовал не только нас, но и гэбэшников: они знали, что в дни, когда мы встречаемся, им можно отдыхать – до утра я никуда не денусь. Они приветливо здоровались с Алёной, тактично отставая от нас метров на десять, пока мы – отдельно от всего мира, потерявшись друг в друге – бродили по осенней Москве. Нашу любовь заботливо охранял родной Комитет, и я совсем перестал думать о будущем и о том, что меня в этом будущем ждало.

Кому интересно будущее, когда есть такое настоящее?

Следователь Круглов, однако, обо мне не забыл и регулярно – раз в неделю – присылал повестки с требованием явиться на допрос. Я эти повестки выбрасывал в мусор и никуда не ходил. Не до Круглова мне: у меня любовь.

Однажды Алёна приехала ко мне вечером, и когда я открыл ей дверь, моя кошка Машка выскочила на лестничную клетку и побежала вниз. Алёна отчего-то любила эту кошку, обладавшую на редкость скверным характером, и многократно заявляла, что вообще-то приезжает повидаться с ней, а не со мной. По ночам Машка приходила к нам в комнату и внимательно следила за нашей любовью зелеными блестящими глазами, то ли завидуя, то ли учась, то ли сравнивая со своими дворовыми романами. Алёна подолгу с ней разговаривала, и Машка, обычно диковатая и живущая своей обособленной кошачьей жизнью, позволяла Алёне брать себя на руки и чесать за ухом. Мне же Машка позволяла только себя кормить.

– Беги за ней! – закричала Алёна, встряхивая длинными черными кудрями и разбрызгивая вокруг застрявший в них дождь. – Беги за ней сейчас же, там ливень! Она утонет! Она заболит и умрет!

Алёна любила преувеличивать. Свойство бурного темперамента.

– Потом схожу, – пообещал я и потянул ее в комнату. – Сама придет. Иди сюда, я соскучился.

– Нет, – твердо сказала Алёна, выдернув руку. – Сначала найди Машку! А то ничего не будет.

Это была серьезная угроза, и никакие мои уговоры и ласки не поколебали Алёниной любви к животным. Минут через десять я убедился, что действительно ничего не будет, пока я не принесу обратно противную кошку, и огорченно поплелся на улицу.

Как только я вышел под проливной дождь, из машины выскочил Тракторист и, подняв ворот, пошел за мной вокруг дома. От него пахло бензиновым теплом, дешевой колбасой и водкой: в предвкушении спокойной ночи гэбэшники уже принялись за ужин.

– Машка! Машка! – звал я, пытаюсь хоть что-то разглядеть в заливающим глаза дожде. – Машка! Машка! Кс-кс-кс!

Тракторист внимательно оглядывался вокруг, стараясь понять, с кем я пытаюсь установить контакт и не несут ли мои действия оперативную опасность.

Так мы прошли два круга, оба промокли до нитки, и тут Тракторист тронул меня за рукав:

– Олег, ты кошку свою ищешь? Серая такая?

Я кивнул.

– Ты не волнуйся, – заверил меня Тракторист, – мы видели: она с черным котом в подвал сиганула.

Машке, видать, тоже хотелось счастья.

– Точно она? – строго спросил я. – Серая, пушистая, с белой полосой?

– Она, она, – закивал Тракторист. – Мы ее хорошо знаем. Иди домой, чо те мокнуть?!

Не волнуйся: мы за ней проследим.

Я поверил и пошел домой: в конце концов, они были профессионалы.

Но от осени не спрятаться, не скрыться...

О борьбе за мир и установлении доверия между грозящими друг другу ядерным уничтожением сверхдержавами я, признаться, совсем позабыл. Изредка, вспомнив о своем статусе непримиримого борца со всяческим тоталитарным злом, я писал что-нибудь вдохновительное для Группы Доверия и передавал своим друзьям. В ответ они передавали мне сведения о недавних обысках и пресс-конференциях, а также новые материалы, выпущенные Группой. Кроме того, они доставляли мне последние выпуски “Хроники текущих событий” – главного информационного бюллетеня советских диссидентов, в котором сообщалось о репрессиях властей.

Для такого обмена информацией у нас существовала тщательно продуманная физиками из Долгопрудного конспиративная процедура, которая на удивление исправно работала. Рассказывать о ней я не буду, потому что какая же это тогда конспирация?

Власти, нужно сказать, не дремали и продолжали начатый в 70-х годах процесс тотального искоренения правозащитного движения в СССР: были посажены братья Александр и Кирилл Подрабинеки, оба получившие в заключении еще по одному сроку; в шестой раз был арестован и осужден на десять лет Анатолий Марченко, погибший впоследствии в Чистопольской тюрьме; сидели члены Московской Хельсинкской группы физик Юрий Орлов, биолог Сергей Ковалев, сын Ковалева Иван и жена Ивана Татьяна Осипова; сидели создавшие первый независимый советский профсоюз “Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся” Владимир Гершуни и Валерий Сендеров и многие, многие, многие другие.

Власть не боялась диссидентов. Не боялась она и общественного мнения и критики Запада. Власть боялась раздоров внутри элиты, понимая, что по мере ослабления брежневского режима, лидер которого находился в навеянном снотворными таблетками психотропном полусне, региональные элиты могут поддаться разбегу центробежных сил, а там – страну не удержать. Потому, думаю, первое большое выступление пришедшего на смену Брежневу председателя КГБ Юрия Андропова в честь 60-й годовщины СССР было посвящено ведущей роли русского народа и его державообразующей функции.

Свободного профсоюзного движения по типу польской “Солидарности” власть тоже не очень боялась: его активисты были “страшно далеки от народа” и оттого не могли причинить особого вреда.

Отчего же власть так зверствовала и губила судьбы искренне озабоченных положением страны и прав ее граждан диссидентов?

Я думаю, власть действовала по инерции, свойственной тоталитарным и авторитарным режимам: заведенный еще ЧК механизм репрессий, раскрутившийся чудовищным, истребляющим миллионы людей маховиком массового уничтожения при Сталине, продолжал тикать, отсчитывая загубленные человеческие судьбы: ещеодин-ещеодин-ещеодин. КГБ нужно было оправдать свое существование, свой бюджет, свою почти мифическую власть, и Комитет продолжал усердно сажать диссидентов, многие из которых были истинными патриотами своей страны, но не правящего ею режима. Кроме того, начав войну в Афганистане, Советский Союз – оплот справедливости и главный борец за мир во всем мире – скомпрометировал себя в глазах развивающихся стран – своих потенциальных союзников в борьбе с западным империализмом – и решил закрутить гайки внутри страны, чтобы никакая критика извне не затуманила головы советских граждан.

Закрутили. Да только резьба сорвалась.

Также – в предвкушении борьбы за преемничество после ожидаемой всеми со дня на день смерти дорогого Леонида Ильича – обострилась борьба если не за кресло наследника, уже предназначенное Андропову, то за кандидатуру наследника наследника между двумя кланами в Политбюро: первым секретарем Ленинградского обкома Романовым и первым секре-

тарем Московского горкома Гришиным. Романов считался сторонником жесткой, андроповской линии, Гришин же воспринимался карасеидеалистической советской интеллигенцией как потенциальный либерал. И тот и другой были, конечно же, законченные мерзавцы, и ничего хорошего ждать от них не приходилось. Комитет в преддверии дворцовой борьбы продолжал усердно зачищать общественно-политическое поле под доблестным руководством истинного сына партии товарища Андропова, подавившего в свое время Будапештское восстание 1956 года. Этот опыт борьбы с взявшей за оружие оппозицией навсегда сформировал Юрия Владимировича, и, возглавив КГБ, он решил никогда не доводить до подобного, а уничтожать всякое инакомыслие в зародыше.

Последовательный был товарищ. Верный ленинец.

Я же – почти как дорогой Леонид Ильич – жил в полусне: осень, палая листва, шелест подошв сопровождавших меня гэбэшников, свидания с Алёной. И зеленоглазая кошка Машка, свидетельница нашей отчаянной любви, в которой я топил нечасто, впрочем, посещавшие меня мысли о неминуемо надвигающейся развязке.

Свеча горела на столе. Свеча горела.

И догорела.

Утром 23 октября 1982 года, лишь только минутная стрелка пересекла двенадцать, а часовая семь, в дверь позвонили. Алёна не проснулась – ее вообще было невозможно разбудить, разве что поцелуями, как заколдованную принцессу, – а мы с Машкой пошли открывать дверь.

На пороге стояли Тракторист и Майор. За ними – еще двое незнакомых мне оперативников.

– Утро доброе, – приветливо поздоровался Тракторист. – Вот.

Он протянул мне официально выглядящий маленький прямоугольник серой бумаги. Я таких уже видел-перевидел – это была очередная повестка от Круглова. “Странно, – подумал я. – Зачем они сами принесли?” Обычно повестки приходили по почте.

– Расписываться не буду, – заученно сказал я. Вроде как и не получал.

– Ну и не надо, – миролюбиво согласился Тракторист. – Одевайся тогда, поедем. Мы тебя доставим. Паспорт возьми.

– Никуда я с вами не поеду. – Я постарался закрыть дверь.

Майор, ожидавший, должно быть, такое развитие событий, шагнул через порог и придержал дверь.

– Не обострай, – тихим глухим голосом сказал Майор. – Наше дело маленькое: сказали доставить – доставим.

Почему-то я сразу ему поверил.

– Олег, – продолжал Тракторист, – пойми, мы здесь ни при чем: служба такая. У нас приказ: если откажешься – доставить. Будем выполнять.

Я подумал было отказаться, но представил себе, как они будут скручивать меня и почти голого (на мне, признаться, кроме трусов, ничего не было) тащить в машину, как будет рыдать Алёна... и решил поехать. В конце концов, съезжу, откажусь давать показания и вернусь. Жаль, конечно, день терять: у Алёны выходной.

– Сейчас оденусь, – пообещал я. – Только не шумите.

– Да мы чо, – понимающе кивнул Тракторист. – Мы ничо. Паспорт не забудь.

Я хотел закрыть дверь, но Майор не дал:

– Здесь подождем, – сказал он. – Не тяни только.

Я тихо оделся, поцеловал спящую Алёну и написал ей записку: “Пошел по делам. Скоро вернусь. Целую, жди меня”.

Как обещал, так и сделал: вернулся. Через пять лет.

Она ждала.

Жизнь четвертая Постоялец “Националя” 1982–1983

Все ночи, полные огня...

Статья 70 (1) УК РСФСР, по которой меня посадили, относилась к разделу “ОСОБО ОПАСНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ” наравне с изменой родине (ст. 64), вредительством (ст. 69) и прочими ужасными антигосударственными деяниями. Только этим я могу объяснить, что во дворе дома, сливаясь с предзвездными сумерками поздней московской осени, меня ждала черная “Волга”, а не какие-то старые “Жигули”, на которых ездили мои оперы. Особо опасным преступникам полагался комфорт.

Вместе со мной на заднее сиденье “Волги” уселись Тракторист и один из незнакомых гэбэшников, зажав меня с обеих сторон: оба были массивные мужчины. Другой незнакомый опер сел на пассажирское сиденье впереди. Шофер тронул машину, и я поехал в новую увлекательную жизнь.

Подъехав к Лефортово, мы остановились у входа в приемную, куда я приезжал на июньский допрос. Тракторист взял у меня паспорт и вместе с повесткой, в получении которой я отказался расписаться, пошел к окошку дежурного.

В приемной, несмотря на раннее время, уже сидело много людей. Черноволосый мальчик лет семи спал, положив голову на колени старой женщине в платке. В приемной было тепло, и, должно быть, женщина не снимала платок из религиозных соображений.

Мы продолжали стоять. Затем одна из дверей открылась, и появился знакомый мне следователь Круглов. Он был выбрит, подтянут, свеж, и от него веяло хорошим настроением, упругой энергией и уверенностью в правоте своего дела. Он, как я узнал позже, вообще был приятный человек.

Круглов поздоровался со мной, взял у дежурного мой паспорт и повестку и кивнул магически появившемуся рядом высокому парню в форме КГБ с голубыми погонами и какими-то лычками. Тот встал у меня за спиной, чуть слева.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.